

РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ РАССКАЗ



Сборник

Русский охотничий рассказ

«РГГУ»

2019

УДК 821(470)
ББК 84(2Рос=Рус)1

Сборник

Русский охотничий рассказ / Сборник — «РГГУ», 2019

ISBN 978-5-7281-2195-4

Охота – древнее занятие – ставит человека лицом к лицу с природой, лесом и его обитателями. На протяжении веков она вдохновляет писателей, является неиссякаемым источником философского, поэтического осмысления мира, нравственного выбора. В русской культуре охота – неотъемлемая часть дворянского усадебного быта – нашла отражение как в произведениях великих мастеров, так и в рассказах и очерках ныне забытых писателей-охотников, продолжающих традиции И.С. Тургенева и С.Т. Аксакова. Произведения, включенные в состав сборника, показывают эволюцию жанра охотничьего рассказа второй половины XIX в. Настоящее издание переработано и дополнено, в него включены рассказы известных советских писателей, продолжающих тему единения человека с природой. Сборник будет интересен как филологам, культурологам, так и любителям охоты, природоведам, а также широкому кругу читателей.

УДК 821(470)
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-7281-2195-4

© Сборник, 2019
© РГГУ, 2019

Содержание

Охотничий рассказ в русской литературе	6
«Трубадур, странствующий с ружьем и лирой»	27
Сергей Тимофеевич Аксаков	27
Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах	27
К читателям	27
Вступление	27
Охота с ястребом за перепелками	29
Ловля мелких зверьков	41
Мелкие охотничьи рассказы	45
Несколько слов о суевериях и приметах охотников	45
Счастливый случай	49
Странные случаи на охоте	50
Необыкновенный случай	52
Иван Сергеевич Тургенев	53
Записки охотника	53
Хорь и Калиныч	53
Малиновая вода	59
Льгов	64
Бежин луг	70
Певцы	81
Лес и степь	90
Пэгаз	94
О соловьях	98
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Русский охотничий рассказ
Составитель, автор вступительной
статьи М.М. Одесская

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

2-е издание, переработанное и дополненное

Охотничий рассказ в русской литературе

Чем объяснить интерес современного читателя к охоте, корнями уходящей в глубокую древность? Ностальгия по прошлому? Экологический голод?

Охота была жизненной необходимостью, неотъемлемой частью быта наших предков, а память о сильных, смелых, сообразительных, выносливых и ловких охотниках хранится в книгах, воспевающих их доблести. «Он был сильный зверолов перед Господом»¹, – говорится в книге Бытия о Нимроде, воине-охотнике, царе, которому приписывается строительство Вавилонской башни.

Охотник – это не только отважный воин, который, подобно Гераклу, сражается с немейским львом и эриманфским вепрем, но и веселый бурный Вакх, изображавшийся в тигровой шкуре, и Аполлон, которому приписывается изобретение лука и который забавлялся охотой и был увенчан лаврами за убийство страшного дракона Пифона. Охотницей была прекрасная Артемида, запечатленная с колчаном за плечами и луком или факелом в руках, даже изнеженная богиня любви и красоты Афродита, влюбленная в Адониса, сопровождала его на охоте.

С охотой связаны легенды и сказки. Меткая стрела Ивана-царевича настигла в болоте чудесную Царевну-лягушку. Охотник нашел у лешего пропавшую девушку и женился на ней. А преследуемый королем Карлом IV олень вывел удачливого охотника к горячим источникам, которые с тех пор, согласно легенде, названы именем короля – Карловы Вары.

К ратному подвигу приравнивал свои победы над дикими конями, турами и медведями отважный воин князь Владимир Мономах. После описания военных походов и битв, скитаний по разным уделам Мономах повествует в «Поучении» о ловах. А завершается «Поучение» призывом не страшиться смерти ни в бою, ни на охоте, доблестно исполняя «мужское дело»².

В древности охоту называли ловом, что выражало изначальное назначение этого занятия, связанного с добыванием трофеев. С конца XV – начала XVI в. охота изменяет свое первоначальное назначение добычливого промысла. Изменения отразились и в языке: вместо слова «лов» стали употреблять слово «охота». Охота – это хотение, настроение, страстное желание «гнати по зверю». Охота – источник наслаждения, возможность проявить сметливость, смелость, ловкость: чем больше препятствий, тем радостней успех для охотника.

Помпезно обставлял соколиную охоту азартный любитель «красной потехи» царь Алексей Михайлович. В «Уряднике, или Новом уложении и устройении чина сокольников пути» находим очень подробное описание подготовки к соколиной охоте как костюмированному театрализованному действу со строго предписанными ролями. Одежда сокольников восхищала и иностранцев. Во время дипломатических обедов царь-охотник любил похвастаться своими ловчими птицами, поражая иностранных послов торжественностью ритуала, который исполнялся сокольными так, как будто речь шла о деле государственной важности. Обладая незаурядным литературным даром, Алексей Михайлович в письмах к московскому ловчему стольнику Афанасию Матюшкину так выразительно и с такой любовью описывает славные добычи своих дорогих птиц, что эпизоды охотничьих мемуаров оживляются восторгом, страстью, гордостью автора за своих соколов и кречетов и дышат истинным вдохновением.

Как видим, охота была забавой для привилегированной части общества – царей, князей. И все они, включая женщин-цариц, предавались азарту гона, восхищались зрелищностью этого захватывающего пышного действия. Различные виды охот были любимы царями. Исключением был лишь Петр Великий, который не жаловал охоты. «Это не моя забава, – говорил он. – И без

¹ Бытие. 10:9.

² «Смерти, дети, не бойтесь, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам бог пошлет» // Изборник. М.: Художественная литература, 1969. С. 162.

зверей у меня есть с кем сражаться: вне отечества с дерзким неприятелем, а внутри укрощать моих грубых и неугомонных подданных». При нем охота стала развиваться в европейских традициях уклада придворной жизни³.

Окончательное закрепление при Петре I за дворянами поместий способствовало развитию и упрочению помещичьего усадебного уклада жизни в России XVIII в. Частью дворянского усадебного быта была и охота.

Хотя весьма популярный в свое время автор од, эклог, элегий, басен, драм Александр Петрович Сумароков специально произведений на охотничью тематику не создавал, все же его перу принадлежит «Охотничья песня», написанная, очевидно, из желания потрафить литературным и эстетическим потребностям дворянского общества.

Продолжая традиции французской литературы и следуя вкусам аристократического общества, Александр Петрович Сумароков сочинял модные в XVIII в. идиллии и эклоги, изображая сценки с пастухами и пастушками на лоне мирной природы. И не случайно одно из первых в русской литературе стихотворений Сумарокова о псовой охоте начинается такими строками:

Не пастух в свирель играет,
Сидя при речных струях.
Не пастух овец сгоняет
На прекрасных сих лугах.
Их свирели не пронзают
Тихим гласом воздух так —
Трубят в роги и вызывают
Здесь охотники собак⁴.

В этом фрагменте видно, что автор соединяет клише знакомого читателю жанра пасторали с элементами народной песни: первые четыре строки составлены по принципу синтаксического отрицательного параллелизма, используемого в народном творчестве⁵. Отталкиваясь от известного жанра, поэт разворачивает в своем повествовании картину захватывающего гона зайца.

Гавриил Романович Державин в «Похвале сельской жизни» (1798) рассказывает об охоте в числе многих прелестей сельской жизни, которые потребны тому, кто, удалившись от дел, предается блаженству простых и естественных радостей:

Когда ж гремящий в тучах бог
Покроет землю всю снегами,
Зверей он ищет след и лог
Там зайца гонит, травит псами,
Здесь ловит волка в тенета.

Иль тонкие в гумнах силки
На куро́патов расставляет,
На рябчиков в кустах пружки, —
О, коль приятно получает

³ Палтусова И. Придворная охота // Наше наследие. 2004. № 72. С. 25.

⁴ Сумароков А.П. Избранные произведения. Л., 1957. С. 313.

⁵ Болдырева А.П. Народная песня в поэзии Сумарокова // Научные записки НГКинского державного педагогического института. Н.В. Гоголя, Т. 1. Чершпв, 1940. С. 184.

Награду за свои труды!⁶

А шуточное из анакреонтической лирики стихотворение «Охотник» (1802) посвящено Михаилу Петровичу Яхонтову (двоюродному брату жены Державина), который приехал в имение автора поохотиться, но влюбился, очевидно, в одну из сестер Бакуниных. Стрела Эрота ранила охотника, и ему теперь не до птиц:

За охотой ты на Званку
Птиц приехал пострелять;
Но, белянку и смуглянку
Вдруг увидев, стал вздыхать.

Что такое это значит,
Миленький охотник мой?
Ты молчишь, а сердце плачет:
Птицы ль не убил какой?⁷

Итак, описания охоты в поэтическом творчестве писателей XVIII в. встречаются фрагментарно как эпизоды из жизни дворянства, как часть дворянской усадебной идиллии, отдохновения на природе.

В XIX в. охота сделалась неотъемлемой частью не только дворянского усадебного быта, но и культуры.

Славился на всю Россию помещик-охотник, автор охотничьих мемуаров Николай Васильевич Киреевский – товарищ по охоте Л.Н. Толстого, близкий знакомый семьи Тургеневых. В его имении Шаблыкино, своеобразной «охотничьей столице», подолгу жила и охотились знаменитые писатели и художники. Сам же щедрый гостеприимный хозяин, страстный охотник, чудака, выстроивший беседку в память о любимой собаке, стал прототипом для персонажей И.С. Тургенева («Гамлет Щигровского уезда») и Л.Н. Толстого – дядюшка в «Войне и мире»⁸. Кстати, по тому, как содержалась псарня, можно было судить о достатке помещика.

Конские ярмарки, устройства псарни, скитания по лесам и болотам, азартные травли, а затем долгие рассказы в кружке охотников о погонях за мастодонтами, о встречах нос к носу с хищниками, анекдоты, байки, мистические истории, хвастовство трофеями – все это заполняло досуг наших благородных предков.

Охота – одна из самых ярких и захватывающих сцен в романе «Война и мир». Передавая азарт гона, Толстой наделяет своих героев – участников охоты – теми чувствами и переживаниями, которые были хорошо известны и понятны ему самому – страстному охотнику. Николай Ростов, засевший в кустах во время облавы на волка, самолюбиво мечтает о доблести и славе. В сильном возбуждении радостно и восторженно визжит Наташа, увидевшая затравленного дядюшкиным Ругаем зайца. Во время охоты смещаются социальные роли, и даже Данило, грозясь, замахивается арапником на старого графа, проворонившего волка.

Однако в реальной жизни помериться силушкой с медведем, посадив его на рогатину, или же спрыгнуть на полном ходу с лошади на спину бегущему волку и, крепко схватив его за уши, заструнить, взять живым, мог не каждый, это считалось особой доблестью среди русских

⁶ Державин Г.Р. Похвала сельской жизни // Русская литература XVIII века. Л., 1970. С. 577.

⁷ ¹ Державин Г.Р. Анакреонтические песни. М., 1986. С. 71.

⁸ Подробнее см.: Громов В.А. Н.В. Киреевский – знакомый Тургенева и Толстого // Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. Л., 1964. Т. 1. С. 284–292.

охотников. Рациональному же европейцу такая смелость была непонятна и воспринималась как безрассудство.

Луи Виардо (друг Тургенева, муж известной певицы), охотясь в России, был свидетелем рискованных и захватывающих поединков с хищниками. В цикле очерков «Охота в России», публиковавшихся в «Лесном журнале», он не только делится с читателями охотничьими наблюдениями, но и объясняет виды и способы охоты, характерные для разных народов, особенности национальной психологии: «...один мужик, не имевший в себе ничего особенно замечательного, преспокойно взошел на чердак, бросился на волка, схватил его за уши и, таща за собою, всунул ему в зубы веревку, перевернув ее несколько раз в виде намордника, потом взбросил зверя на плечи, как добрый пастырь заблудшую овцу, и вынес его из деревни. Мы все последовали за храбрецом, держа ружья наготове. Но волк, выпущенный на волю, стоял, повесив нос, и не двигался с места (известно, что пойманные волки очень трусливы). Как бы вы думали, что сделал мужик? Он подошел к волку и стал его толкать под бока кулаками и ногами. Зверь, наконец, вышел из терпения и бросился на бедного мужика, который, не видя никакого средства к спасению, кинулся ничком в снег, к счастью, мы были недалеко и убили волка кинжалами... Эта слепая храбрость, – комментирует Луи Виардо, – замечена всеми, кто только имел случай видеть русский народ вблизи, но немногие знают, откуда происходит эта храбрость. Она не есть следствие ни незнания самой опасности <...>, ни презрения к жизни... Но в русском языке есть слово, неперебиваемое ни на какой другой язык, слово всемогущее, выражающее лучше длинных фраз и объяснений то странное чувство, которое пробуждается в русском человеке при приближении опасности, в исполнении опаснейших предприятий. Это слово – *авось*, с ним для русского нет ничего невозможного»⁹.

Охота (в отличие от промысла – занятия международного и межнационального) воспроизводит веками складывающуюся ритуальность, культовые представления и суеверия народа. И, возможно, страсть русских охотников к единоборству с хищниками связана не только с безрассудной стихийностью русского характера, но и с национальной традицией кулачных боев, бессознательно хранимой исторической памятью народа.

Иностранцу бросилась в глаза и другая особенность, отличающая русскую охоту, – ее ритуальность, обрядовость. Перед началом охоты весь состав: помещики-охотники, егеря, доезжачие, своры собак – выстраивались при полном параде в торжественной боевой готовности, а звуки охотничьего рога провозглашали сбор.

Ритуальная парадность, торжественность перед началом охоты сродни смотру войск перед сражением. Ведь в охоте много общего с битвой, воинскими действиями. Охота – в некотором смысле подражание войне. Нетрудно увидеть параллели в описанных Л.Н. Толстым в «Войне и мире» сценах сражений и охоты. Подготовка к гону с собаками была не менее тщательна и ответственна, чем подготовка к военной атаке с расстановкой сил на поле боя: «Всех гончих выведено было пятьдесят четыре собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало шесть человек. Борзятников, кроме господ, было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых, так что с господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и двадцати конных охотников. Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение»¹⁰. Охота, как справедливо замечает С.Г. Бочаров, – это игра и искусство: «Настоящие охотники, всем существом своим постигнувшие глубокий смысл этого обряда, строго следят за соблюдением его ритуала, они почти что священнодействуют. Для этих специалистов охота, перестав быть утилитарным занятием, стала искусством. А ведь само так называемое высокое искусство, в развитом человеческом обществе – какая-то форма необходимой людям игры, без которой нельзя прожить; это такое важное дело, которое

⁹ Виардо Л. Охота в России // Лесной журнал. 1847. № 10. С. 80.

¹⁰ Толстой Л.Н. Война и мир // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 12 т. М., 1958. Т. 5. С. 258.

одновременно является развлечением, и в этом отличие искусства от прочих важных занятий взрослого человека»¹¹.

Н. Реутт, известный в кругу охотников специальными статьями и руководствами, сетуя на недостаток охотничьей литературы на отечественном языке, во вступлении к своему трактату «Псовая охота» (1846) отходит от канона отраслевого очерка и делает исторический экскурс о роли охоты в жизни общества. Он приходит к выводу, что «охота с возрастанием просвещения была постоянным предметом занятий образованнейших людей <...> охота со всем великолепием и торжественностью своих обрядов была сильным орудием политики. Съезды и пиршества дипломатов в поле разрешали гордые узлы намерений кабинетов. В наш век охота перестала быть этим орудием: ее заменили дипломатические обеды и балы. <...> Впрочем, и теперь еще охота принадлежит к увеселительным торжествам при важнейших событиях»¹².

Хотя охота имеет давние традиции в мировой культуре, описания этого захватывающего занятия, яркие эпизоды в произведениях многих известных русских писателей – это лишь фон, антураж, передающий атмосферу усадебной жизни. Гарцует в отъезде граф Нулин, но не победы охотника живописует Пушкин, а то, чем занята «супруга одна в отсутствии супруга»... Воздвиг Кирилл Петрович Троекуров («Дубровский») на зависть соседям псарню с «лазаретом для больных собак и отделением, где благородные суки ощенились и кормили своих щенят», но охотничья забава барина-самодура – не более чем дополнительный штрих к прочим его причудам. Похваляется перед гостями псарней даже такой нерадивый помещик, как Ноздрев (Гоголь, «Мертвые души»), но об азартных погонях, напряженных поединках, охотничьих трофеях читатель может лишь догадываться. Невозможно забыть волнующие страницы об охоте в «Войне и мире», «Анне Карениной», но в сложной структуре романов Толстого это только эпизоды, связанные с личными воспоминаниями писателя – заядлого охотника в определенный период жизни. Описание же собственно охоты было достоянием специальных журналов, альманахов.

В 40-е годы XIX в. издавалось немало охотничьих журналов и альманахов, где ныне забытые авторы помещали отраслевые очерки, в которых наряду с описанием видов ружей, пород собак и лошадей попадались пейзажные зарисовки, этнографические заметки. В журналах печатались переводы английских охотничьих и одновременно нравоописательных рассказов из сельской загородной жизни.

Вот, например, в очерке Ф. Гриневецкого «Охота на лебедей», описывающем эпизод охоты автора на Дунае, читатель найдет и дневниковые записи, с фотографической точностью фиксирующие особенности живописной местности, рассказы о различных видах луговых цветов, насладится лирическим пейзажем, а также узнает методику столь экзотической охоты.

Некоторые рассказы и очерки печатались не только в специальных охотничьих изданиях, но даже в таких известных литературно-публицистических журналах, как «Москвитянин», «Русский инвалид», «Библиотека для чтения». В 1845 г. А.С. Хомяков, констатируя интерес к охоте у определенной части читателей и порицая ее как проявление англomanии, поместил в качестве приложения к своей статье «Спорт и охота» в журнале «Москвитянин» перевод из английского охотничьего журнала о псовой охоте¹³.

На охотничью литературу были отклики. Так, трактат «О псовой охоте», написанный стремлянным государевым А.М. Венцеславским, а также книга Н. Реутта «Псовая охота» послужили Н.А. Некрасову материалом для пародирования восторженного стиля прославления аристократических увеселений. Избрав эпиграфом к своей поэме «Псовая охота» (1846) строки из сочинения Реутта, Некрасов вводит другую тему – он обличает жестокие нравы помещи-

¹¹ Бочаров С.Г. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1968. С. 3.

¹² Реутт Н. Псовая охота. СПб., 1846. С. 10, 22, 23.

¹³ Хомяков А.С. Поли. собр. соч.: В 4 т. М., 1861. Т. 1.

ков-крепостников. И если у Толстого в «Войне и мире» во время охоты барин-охотник и крестьянин-егерь равны, то Некрасов, напротив, подчеркивает социальное неравенство, которое проявляется и во время «утонченной» забавы:

Вот и помещик. Долой картузы!
Молча он крутит седые усы,
Грозен осанкой и пышен нарядом,
Молча поводит властительным взглядом.

И далее:

Барин озлился и скачет на крик
Струсил – и валится в ноги мужик¹⁴.

И все-таки отдельные произведения, а также эпизоды, яркие сцены охоты, встречающиеся у писателей высокой литературы, до определенной поры не дают право говорить об охотничьем рассказе как жанре.

Колыбелью охотничьего рассказа следует считать Англию, там сформировался этот жанр и оттуда пришел в Россию. В самом деле, в 30-40-е годы XIX в. Англия была буквально «наводнена книгами охотничьих рассказов, всевозможными охотничьими “очерками”, “воспоминаниями”, происшествиями»¹⁵. Родоначальником распространенного в первой половине XIX в. жанра охотничьих и одновременно нравоописательных очерков из английской сельской жизни считается Нимрод (Чарльз Эпперли). Популярна была также книга Мартингейла (Джеймс Уайт) «Охотничьи сцены и сельские характеры»¹⁶. Пирс Эган с конца 1820-х годов был известен юмористическими рассказами об охоте. А Роберт Сартиз – мастер карикатуры и шаржа – изображал горе-охотников, неудачников, которые были сродни героям «Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса¹⁷.

В России охотничьи рассказы стали литературным фактом позднее, в 40-50-е годы XIX в., когда «из мелочей литературы, из ее задворков и низин всплывает в центр новое явление», в нашем случае – когда цеховая замкнутость отраслевых журналов и альманахов была поколеблена и охотничья литература начала взаимодействовать с «высокой».

В 1847 г. вышел первый рассказ будущего цикла И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч», подзаголовок к которому «Из записок охотника» дал И.И. Панаев – журналист, зорко следивший за современными ему явлениями литературной жизни. И хотя в рассказе мало было собственно охотничьего, этот подзаголовок был дан редактором «с целью, – как вспоминал Тургенев, – расположить читателя к снисхождению». Подзаголовок и определил судьбу будущего знаменитого цикла. Тургенев в 1852 г. издал книгу, объединившую все рассказы, повествование в которых ведет охотник, под названием «Записки охотника». Случайно ли это название?

И хотя критики спорили о содержании книги: одни считали, что это произведение антикрепостнической направленности (Белинский, Герцен, Салтыков-Щедрин), другие указывали на связь со «счастливейшим родом произведений» – охотничьими рассказами (Анненский, Боткин, Дружинин, Гончаров), тургеневский цикл определил судьбу охотничьего рассказа как жанра.

¹⁴ Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. М., 1948. Т. 1. С. 34, 37.

¹⁵ Алексеев М.П. Заглавие «Записки охотника» // Тургеневский сборник. Л., 1969. Т. 5. С. 215.

¹⁶ Martingale. Sporting Scenes and Country Characters. L., 1840.

¹⁷ Подробнее об этом см. в указанной выше статье М.П. Алексеева.

Охота для Тургенева и его современников – Толстого, Некрасова, Фета – была естественной склонностью натуры, дававшей пищу для ума и для наблюдений. Охота была для дворянина не просто игрой, дававшей выход естественным страстям, но, освобождая его от сословных предрассудков, ставила лицом к лицу с природой, возвращая к первоначальному ощущению целостности мира. Охотничья страсть, поэзия, красота гармонично сосуществовали в сознании охотника. «Благо чувство к красоте не иссякло, – писал Тургенев И. Борисову 28 января 1865 г., – благо, можешь еще порадоваться ей, всплакнуть над стихом, над мелодией... А тут охота, страсть горячая, сильная, неистомимая...»¹⁸. А в письме Фету, своему спутнику по охоте, Тургенев ставит рядом музу и охоту: «Что-то Вы поделяете? <...> А муза? А Шекспир? А охота?» (П., 4, 56).

Панаев в дружеском шарже на Тургенева в большей степени запечатлел поэта-созерцателя, чем охотника. Он опубликовал этот портрет в «Современнике», в «Литературном маскараде накануне 1852 года»: «Он большой чудак <...>, он скитается вечно в охотничьем платье, беспрестанно останавливается на пути своем и смотрит кругом по сторонам или вверх. <...> Мой охотник никогда не стреляет: его английская желто-пегая собака Дианка печально следует за ним без всякого дела, виляя хвостом и уныло моргая усталыми глазами, а хозяин ее постоянно возвращается домой с пустым ягдташем. Он следит не за полетом птицы, чтобы ловчее подстрелить ее, а за этими золотисто-серыми с белыми краями облаками, которые разбросаны в небе. <...> Ничто в природе не ускользнет от его верного поэтического и пытливого взгляда, и птицы спокойно, ласково и безбоязненно летают вокруг этого странного охотника, как будто напрашиваясь попасть в его “Записки”»¹⁹.

Однако Тургенев был не только созерцателем и поэтом, но и увлеченным охотником. В его переписке с Аксаковым, Фетом, молодым Толстым, Некрасовым замечания о литературе перемежаются с чисто охотничьими заботами, подробнейшими описаниями трофеев.

Перед глазами встают натюрморты в духе фламандской школы, дышащие поистине гедонистическим отношением к жизни. Охота для Тургенева, как и для многих его друзей-единиц, была занятием естественным, не противоречащим нравственным законам, ибо она давала возможность не отстраненно взирать на красоту природы, а участвовать в ее жизни, ощущая себя частицей великого целого.

В 40-60-е годы XIX в. можно констатировать большой интерес в России к естественно-научным знаниям. Увлечение русских писателей естественнонаучными теориями, а также натурфилософскими идеями просветителей XVIII в. связаны с желанием разобраться в сущности и закономерностях явлений природы. Сочинения французского естествоиспытателя и писателя VIII в. Жоржа Луи Леклера де Бюффона были популярны не только в Европе, но и в России. Широко известно было его произведение «Histoire naturelle», в котором он сосредоточил свое внимание на изучении нравов животных. Строго научному описанию Бюффон противопоставил живой, возвышенный, полный остроумия и изящества язык. Свои наблюдения над характерами животных, их физиологией, а также факты из различных отраслей естествознания Бюффон объединил в философскую систему, объясняющую явления природы. Природа воспринималась Бюффоном как некое созидательное, творческое начало, в ней самой он видел источник развития. По мнению Бюффона, все существа, которые создает природа, для нее самой одинаково равны, она не отдает предпочтения одним в ущерб другим: «Если взять все организмы вообще, то в целом количество жизни всегда то же»²⁰. И если в «века изобилия» преобладает численность людей и домашних животных, то после войны людское население

¹⁸ Тургенев И.С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т.: Письма. Т. 6. М., 1989. С. 98. Далее везде ссылки на это издание даются в скобках с указанием тома и страницы в тексте статьи.

¹⁹ Панаев И.И. «Литературный маскарад» накануне нового 1852 года // Современник. 1852. № 1. Отд. VI. Смесь. С. 153–173.

²⁰ Piveteau J. La pensee religieuse de Buffon // Buffon. P.: Museum National d'Histoire naturelle. 1952. P. 31.

убывает, зато возрастает количество диких зверей, а нивы зарастают бурьяном. «Эти вариации, столь существенные для человека, безразличны для природы»²¹.

Утверждая равенство всех организмов, созданных природой, показывая взаимообусловленность происходящих в природе процессов, Бюффон приходит к выводу о естественности и закономерности уничтожения одних живых существ другими: растений животными, одних видов животных другими видами, в том числе человеком. Осознание себя наравне с другими живыми существами, такими же произведениями природы, давало охотнику право вступать в поединок с себе подобными.

Идеи Бюффона о единстве мира, о созидательном характере природы, о самоценности каждой отдельной особи и их единстве, о закономерности смерти и рождения, созвучные мыслям немецкого естествоиспытателя и поэта Гете, были хорошо известны Тургеневу и нашли отклик в его творчестве. Развивая идеи Бюффона и Гете об исключительности и одновременно взаимозависимости всех творений природы, Тургенев в рецензии на книгу «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С.Т. Аксакова писал: «Бесспорно вся она составляет одно великое, стройное целое – каждая точка в ней соединена со всеми другими, – но стремление ее в то же время идет к тому, чтобы каждая именно точка, каждая отдельная единица в ней существовала исключительно для себя, почитала бы себя средоточием вселенной, обращала бы все окружающее себе в пользу, отрицала бы его независимость, завладела бы им как своим достоянием. Для комара, который сосет вашу кровь, – вы пища, и он также спокойно и беззастенчиво пользуется вами, как паук, которому он попался в сети, им самим <...>» (4, 516)²².

В художественной форме Тургенев выразил идею равенства всех живых творений природы в «Поездке в Полесье», которая в 1860 г. была включена в издание «Записок охотника», а также в стихотворении в прозе «Природа» (1879): «Все твари – мои дети», – промолвила она, и я одинаково о них забочусь и одинаково их истребляю. Я тебе дала жизнь – я ее отниму и дам другим, червям или людям... мне все равно... (10, 164).

В книге С.Т. Аксакова Тургенева привлекает то, что автор художественно изобразил нравы, характеры зверей и птиц. Тургенев сравнивает Аксакова с Бюффоном, и сравнение это в пользу Аксакова, ибо тот, по мнению рецензента, освободившись от риторики, сумел «отделиться от самого себя и вдуматься в явления природы... (4, 518). «Когда я прочел, – пишет Тургенев, – например, статью о тетереве, мне, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно... Автор перенес в изображение этой птицы ту самую законченность, ту округленность каждой отдельной жизни, о которой мы говорили выше, и т. д. и т. д. Если б тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в этом уверен, ни слова не прибавил бы к тому, что о нем поведал нам г. А-в. То же самое должно сказать о гусе, утке, вальдшнепе, – словом, обо всех птичьих породах, с которыми он нас знакомит» (4, 517–518).

Итак, можно констатировать, что в середине XIX в. взаимоотношения человека и природы – одна из ведущих тем дворянской усадебной литературы – наполняются новым содержанием. Законы природы едины для всех живых существ, показывает Аксаков в своей книге, и поведение птиц в определенных жизненных ситуациях сходно с поведением людей. «Вероятно, многим удавалось, – пишет С.Т. Аксаков, – слышать, не говоря об охотниках, “вдали тетеревов глухое токованье”²³, и, вероятно, всякий испытывал какое-то неопределенное, приятное чувство. В самих звуках ничего нет привлекательного для уха, но в них бессознательно чувствуешь и понимаешь общую гармонию жизни в целой природе... Итак, косач пускается токовать: сначала токует не подолгу, тихо, вяло, как будто бормочет про себя, и то после сытного завтрака,

²¹ Там же. Р. 37.

²² Этот отрывок был изъят из первого издания, так как цензура усмотрела в тексте недозволённые мотивы пантеизма. См. письма И.С. Тургенева к С.Т. Аксакову от 5 и 9 февраля 1853 г.

²³ Стих Державина из стихотворения «Жизнь Званская» (прим, авт.)

набивши полный зоб надувающимися тогда древесными почками. Потом, с прибавлением теплоты в воздухе, с каждым днем токует громче, дольше, горячее и, наконец, доходит до исступления: шея его распухает, перья на ней поднимаются, как грива, брови, спрятанные во впадинках, прикрытые в обыкновенное время тонкою, сморщенной кожецею, надуваются, выступают наружу, изумительно расширяются, и красный цвет их получает блестящую яркость. Косачи рано утром до солнечного восхода, похватав уже кое-как несколько корма (видно и птице не до пищи, когда любовь на уме), слетаются на избранное заранее место, всегда удобное для будущих подвигов»²⁴.

А вот как ведет себя во время токования тетерка: «Неравнодушно слушая страстное шипенье и бормотанье своих черных кавалеров, и пестрые дамы начинают чувствовать всемогущий голос природы и оказывают сладострастные движения: они охорашиваются, повертываются, кокетливо перебирают носами свои перья, вздрагивая распускают свои хвосты, взмахивают слегка крыльями, как будто хотят слететь с дерева, и вдруг, почувствовав полное увлечение, в самом деле слетают на землю...»²⁵

Как и в человеческом обществе, любовь порождает ревность, дуэли, войны: «...и вот между мирными флегматичными тетеревами мгновенно вскипает ревность и вражда, ибо курочек бывает всегда гораздо меньше, чем косачей, а иногда на многих самцов — одна самка. Начинается остервенелая драка: косачи, уцепив друг друга за шеи носами, таскаются по земле, клюются, царапаются без всякой пощады, перья летят, кровь брызжет...»²⁶

Хотя Тургенев ставит в заслугу Аксакову то, что его книга «связана с жизнью», и это «принесет ей успех у естествоиспытателей», все же у самого автора «Записок охотника» никогда не встречаются столь физиологически точные и натуралистически яркие описания природы. Пантеизм Тургенева близок к тютчевскому растворению личности в мировом единстве. Для обоих поэтов человек — «мыслящий тростник». Равнодушие природы и одинокое человеческое Я — этот мотив, с такой силой прозвучавший в «Поездке в Полесье», оставался едва ли не ведущим на протяжении всего творчества Тургенева.

Тургенева и Аксакова сближало то, что охота была для них возможностью изучать родную землю, проникать в тайны природы. В книге Аксакова этнографизм, естественно-научный подход, практическая ориентация, которая выражена и в названии (точное место охоты), и в рассуждениях о сугубо охотничьих предметах, преобладают над художественностью. И хотя Гоголь, прочитав «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», готовившиеся в то время к изданию, пожелал, чтобы его «души» были так же живы, как птицы Аксакова, все же лишь с появлением «Записок охотника» Тургенева (книга вышла почти одновременно с аксаковской) литературный охотничий рассказ освободился от того, что интересно только специалисту. Тургенев раздвинул сюжетную и жанровую замкнутость. В своей книге он переставил акценты, направив читательское внимание на человека, выдвинул на первый план нравственный, социальный, эстетический аспекты: он специальное заменил универсальным, «охотничье», этнографическое — общечеловеческим, художественным. Тургенев впервые показал, что в поле зрения охотника могут быть различные темы.

Если рассматривать рассказы Тургенева как самостоятельные, вне цикла, то их, за редким исключением («Льгов», «Ермолай и мельничиха»), трудно причислить к охотничьей литературе: охота в них служит лишь поводом для развертывания повествования. Однако Тургенев замыслил создание большого произведения, некоего художественного единства, где названием всей книги стал бы подзаголовок к первому рассказу «Хорь и Калиныч», который открывал бы цикл. Об этом свидетельствуют программы (первый проект титульного листа «Записок охот-

²⁴ Аксаков С.Т. Дичь лесная. Тетерев // Аксаков С.Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955–1956. Т. 4. С. 397.

²⁵ Аксаков С.Т. Дичь лесная. Тетерев. С. 398.

²⁶ Там же.

ника» уже существовал на полях черновика рассказа «Бурмистр», датируемого исследователями августом 1847 г.), а также предложение Н.А. Некрасова издать «Записки» в задуманной им серии «Библиотека русских романов, повестей, записок и путешествий».

Следует отметить, что цикл – это не случайное, механическое объединение разнородного материала под общим заглавием, а некое единство, выражающее точку зрения автора на мир. В цикле заложена идея круга, воплощающего единство конечного и бесконечного. И потому концепцию Тургенева о постоянном круговороте в природе, о единстве и гармонии человека и природы наиболее адекватно мог выразить именно цикл. Кольцевая композиция «Записок охотника» способствует осуществлению замысла автора. В самом деле, тургеневский цикл открывается рассказом «Хорь и Калиныч» о двух вечных универсальных типах человека (рациональном и эмоциональном) – творении природы, части мирового единства, человека как субстанции конечной в каждом своем конкретном воплощении. А замыкает композицию рассказ «Лес и степь» – гимн природе, выражающий идею бесконечности природы. Несмотря на то что это – один из ранних рассказов (1849), Тургенев во всех изданиях «Записок охотника» именно им завершал цикл.

Сюжетный репертуар «Записок охотника» Тургенева весьма разнообразен, и этому помогает мотив путешествия, позволяющий в свободной манере рассказывать обо всем, что автор-охотник встречает на своем пути. Отсюда и жанровое разнообразие внутри цикла: очерки, сентиментальные и мистические истории, жития, сатирические портреты, лирические пейзажи. Но что объединяет столь разнородный материал? Структурообразующим стержнем является фигура охотника-повествователя, воплощающего в себе единую точку зрения на разнородный жизненный материал. Именно глазами путешествующего охотника воспринимаются сельская жизнь, крестьяне и их хозяева – помещики, природа. Фигура охотника – отнюдь не бутафорская. Вдохновенный охотник-поэт легко узнаваем – это сам Иван Сергеевич, чуткий и тонкий знаток природы, дворянин, сочувствующий народным нуждам, исследователь русского характера, ценитель народного таланта, красоты, ироничный к фальши, беспощадный к жестокости и самодурству. Охотничий костюм демократизировал дворянина, ломал социальные барьеры, позволяя барину зайти в крестьянский кабак, заночевать в поле у костра или в сарае на сеновале. От непосредственного контакта с природой и людьми рождались рассказы охотника. Концепция единства человека и природы – центральная в замысле Тургенева, ею держится цикл «Записки охотника».

Охотничья литература имела свой низовой вариант в полупрофессиональной беллетристике. Это была любительская дилетантская литература, получившая развитие в мелкопоместной дворянской охотничьей среде. После «Записок охотника» Тургенева и аксаковских «Записок» оживились охотничьи издания: беллетристика стала занимать в них существенное место. Литераторы «второго и третьего ранга» разрабатывали охотничий рассказ в двух направлениях: как природоведческий очерк и как рассказ, объединенный фигурой путешествующего охотника, но мало связанный с собственно охотой.

Так, в книге Флегонта Арсеньевича Арсеньева, писателя и этнографа, отчетливо проявилась практическая направленность. Не случайно первый свой рассказ «Из воспоминаний охотника», напечатанный в «Отечественных записках», он посвятил Аксакову, который поощрял начинающего литератора «исключительно к занятиям охотничьей литературой». Природа, люди, животные в очерках Арсеньева описаны зорким охотником, наблюдательным природоведом, любознательным исследователем края. Однако читатель не найдет ни занимательных сюжетов, ни художественно нарисованных характеров, ни поэтических картин природы. Фактическая точность в повествовательной манере писателя преобладает над художественностью.

Рассказы Николая Николаевича Воронцова-Вельяминова – явление переходное от охотничьего этнографического повествования к художественному. И хотя автор, стараясь сделать книгу «Рассказы Московского охотника» полезной, указал в заглавии место охоты (дань акса-

ковской традиции), а в некоторых очерках подробно описал леса, болота и обитающую в них дичь, все же в других, по справедливому замечанию составителя охотничьего словаря С.И. Романова, «в дело охоты вмешивается любовь». Однако в большинстве очерков ослаблено сюжетное действие, композиция фрагментарна, характеристики эскизные.

В рассказах Николая Григорьевича Бунина, Николая Андреевича Вербицкого-Антиохова, Дмитрия Александровича Вилинского, Евгения Николаевича Опочинина преобладает художественный вымысел. Бродячие богомазы и певцы, талантливые самородки, самобытные натуры, цельные, независимые; терпеливые и незлобивые чудаки-бессребреники, нищие «богачи» предстают на страницах охотничьих рассказов, как бы воплощая некую романτικο-идиллическую мечту о потерянном рае.

Герои этих произведений напоминают идеализированные Тургеневым образы крестьян – талантливого певца Якова Турка, по-детски непосредственного и поэтичного Калиныча, независимого бродягу охотника Ермолая, чудаковатого, отрешенного от всего земного Касьяна. Как и у Тургенева, в произведениях массовой охотничьей литературы мерилом чистоты и цельности является близость человека к природе. В противовес непосредственным, одухотворенным и бескорыстным натурам с определенной долей сарказма, сатирически изображают писатели-охотники людей, далеких от природы, обремененных чинами.

Каково же место собственно охоты в этих рассказах? Во многих рассказах охота служит лишь поводом для развертывания повествования. Однако в других занимает центральное место. Доблесть, смелость в охотничьем деле являются неотъемлемой частью идеализируемых Н.Г. Буниным народных типов. Описывая захватывающий поединок с медведем, атмосферу гона хищника, автор восхищается удалью и бесстрашием смельчака, свирепый зверь не вызывает сочувствия у завязых охотников. В таких сценах есть своего рода романтика превосходства человека над природой.

Копируя и тиражируя разработанные Тургеневым народные характеры, сюжетную и жанровую структуру, образ охотника-повествователя, авторы массовой литературы переводили охотничий рассказ в низовой фонд. Хотя рассказы объединены общим заглавием, их нельзя считать циклами, так как они не представляют идейного единства. Дилетантская литература оставляет за пределами своего внимания то, что составляет суть тургеньевского цикла – философское осмысление мира. В записках охотников – последователей Тургенева – разрушается идейно-эстетическая целостность: их книги – это сборники рассказов.

В 80-е годы XIX в. концепция мира как величественного стройного рационального единства испытывает кризис. В конце века пошатнулась вера в правильность устройства мира. Разрушилось чувство родства со всем мирозданием, присущее Аксакову, Тургеневу, раннему Толстому и его героям. В последнем своем произведении «Путь жизни» (1910) Толстой говорит, что заповедь «не убий» «относится не к одному убийству человека, но и к убийству всего живого». В предисловии к статье своего последователя В. Черткова «Злая забава» Толстой писал: «Несколько лет тому назад мне довелось слышать следующий разговор между начинающим охотником и бывшим охотником, оставившим охоту вследствие сознания безнравственности этой забавы: Молодой охотник (с уверенностью): “Да что же дурного в охоте?” Бывший охотник: “Дурно без нужды, для забавы убивать животных”.

Ни возражать против этого, ни не соглашаться с этим невозможно: так это просто, ясно и несомненно. Но, несмотря на это, молодой охотник не бросил тогда же охоты, а охотится и до сих пор. Но уверенность в безобидности занятия охотой нарушена; совесть пробуждена по отношению к делу, считавшемуся доселе несомненно правым. И долго молодой человек уже не проохотится»²⁷.

²⁷ Толстой Л.Н. Предисловие к статье В. Черткова «Злая забава» // Чертков В. Злая забава (Мысли об охоте). Издание «Посредника». С. 3–4. Толстой редактировал эту статью и придумал к ней название.

Книга Черткова направлена против, как и указано в названии, охоты – «злой забавы». Автор с сожалением вспоминает эпизод из своей прошлой жизни, когда он еще охотился и убивал животных. Теперь сочувствие бывшего охотника на стороне раненого волка, которого он сам в былые времена безжалостно добывал: «...я выстрелом свалил волка и побежал к нему, чтобы добить его толстой палкой, принесенной для этой цели. Я бил по переносице, самой нежной части волчьего тела, а волк с диким исступлением смотрел мне прямо в глаза и при каждом ударе испускал глухой вздох. Вскоре лапы его судорожно задергались, вытянулись, по ним пробежала маленькая дрожь – и они закоченели. Я побежал на свой номер и, весь запыхавшись от волнения, притаился за своим деревом в ожидании новой жертвы. Вечером, в постели, я вспоминал впечатления дня <...>. Я вспоминал все это с замиранием сердца и с наслаждением переживал вновь и вновь мое волнение. Вспоминая это, я заметил, что я с каким-то настоящим сладострастием упиваюсь страданиями издыхающего животного. Мне стало совестно за себя»²⁸.

Можно с уверенностью сказать, что подобные переживания свойственны каждому охотнику, в том числе и Толстому; достаточно вспомнить знаменитую сцену облавы на волка в «Войне и мире», где писатель воспламенил азартом гона участников травли. Описывая мысли и чувства охотников, Толстой показал звериные глаза: побежденный матерый смотрел на окружающих дико и просто.

Победив инстинкт охотника и став вегетарианцем, Толстой в статье «Первая ступень» (1891) утверждает, что воздержание – это первая ступень к царству Божию на земле. Одним из самых ярких и красноречивых эпизодов статьи является описание бойни, которую писатель посетил в Туле после прочтения вегетарианской книги Хаугарда Уильямса «Этика пищи», изданной в Лондоне в 1883 году. Знаменательно, что Толстой рассказывает о том, что пригласил пойти вместе с ним на бойню одного охотника, кроткого и доброго человека, но тот отказался:

«– Да я слышал, что тут хорошее устройство и хотел посмотреть, но если там бьют, я не войду.

– Отчего же, я именно это-то и хочу видеть! Если есть мясо, то ведь надо бить!

– Нет, нет, я не могу!

Замечательно, – комментирует Толстой, – при этом, что этот человек-охотник и сам убивает птиц и зверей»²⁹.

Хотя Тургенев, в отличие от Толстого, в последние годы жизни не стал вегетарианцем и не отказался от былых пристрастий, в 1882 г. он написал рассказ «Перепелка», который включил в детское издание «Рассказы для детей И.С. Тургенева и графа Л.Н. Толстого». В этом рассказе неожиданно проявился совсем иной взгляд на охоту: мальчик, прежде мечтавший стать охотником, как его отец, однажды, увидев погибшую перепелку, защищавшую своих птенцов, навсегда отказался от охоты, ему с того дня «все тяжелей и тяжелей стало убивать и проливать кровь» (10, 122).

С.Т. Аксаков не дожил до того времени, когда сформировалось иное понимание отношений человека и природы. Но очерк критика нового поколения Ю.А. Айхенвальда красноречиво свидетельствует о тех кардинальных изменениях, которые произошли в мировоззрении литераторов и мыслителей конца XIX в. Вот как портрет типичного охотника уходящей дворянской усадебной жизни представил Айхенвальд: «В образе жизни стариков Аксаковых было что-то звериное, стихийно-материальное, и вот родился охотник, любитель зверя и насиль-

²⁸ Чертков В. Указ. соч. С. 16–19. Приведенный рассказ Черткова Т. Галецкий ошибочно приписал Л. Толстому. См.: Галецкий Т. Толстой и вегетарианство. М., 1913. С. 15.

²⁹ Толстой Л.Н. Полное собр. соч. и писем: В 90 т. М., 1928–1957. Т. 29. С. 79.

ник над ним. Ибо в охоте странно соединяется любовь к природе и борьба с нею; это любовная война с живыми существами, их убийство без ненависти. Охотник еще помнит свое торжество над природой, свою исконную связь с нею. Черноземный Немврод, кроткий убийца, Аксаков страстно полюбил ее и всю свою жизнь вносил в нее смерть; еще в ту пору, когда он ловил бабочек, эти «порхающие цветки», он слился с природой в любви и в убийстве. Он наивен в своей жестокости, не замечает ее и так просто говорит: «на это, пожалуй всякий посмотрит с удовольствием» – т. е. на то, как ястреб клюет перепелку и лакомится ее оторванной головой. <...> Без всяких преувеличений и фраз можно сказать, что ружье – молния и гром в руках охотника и на определенном расстоянии делает его владыкой жизни и смерти всех живущих тварей. Он пользуется своим владычеством. Ему весело прекратить быстрый бег зайца метким выстрелом, от которого колесом завертится русак с разбега и потом растянется на снегу. Весною прилетит из дальних стран юное, трепетное поколение, но его поджидает с молнией и громом в руках Сергей Аксаков, и прилетит все это живое для того, чтобы быть убитым»³⁰.

Итак, разрушилось былое восприятие природы как гармонического единства, отошел и адекватный этому мироощущению жанр – цикл рассказов и очерков с неторопливым описательным повествованием ружейного охотника, по словам Гончарова «трубадура, странствующего с ружьем и лирой». Начиная с 1880-х годов в литературе стала очевидной гуманистическая, антиохотничья тенденция. Охоту стали воспринимать как убийство, как занятие, способствующее выявлению жестоких инстинктов. Драматическое ощущение потери былой связи с природой, жестокости человека-властелина, высокомерного покорителя отражено в произведениях, вышедших примерно в одно время: «На волчьей садке» (1882) Чехова, «Зверь» (1883) Лескова, «Медведи» (1883) Гаршина, «Первая охота» (1883) Терпигорева. Во всех перечисленных произведениях охота показана как публичная казнь, как расправа сильного над слабым.

Н.С. Лесков не был страстным охотником, как его великие предшественники и современники, и рассказ «Зверь», которому в литературоведении и критике не уделялось достаточного внимания, стоит несколько особняком. Чаще всего комментаторы ограничиваются указанием на автобиографические моменты в рассказе, о которых говорит сын писателя А.Н. Лесков в своей книге «Жизнь Николая Лескова». Однако рассказ этот, несомненно, связан со всей этико-эстетической системой писателя. Противник кровопролития, того, чтобы «с ножами водворять новую вселенскую правду», находившийся в оппозиции ко всем политическим и идеологическим течениям, Лесков превыше всего ставил вечные законы нравственности, христианского совершенствования, и в этом его взгляды совпадали с Толстым. Как и Толстой, Лесков в 1881 г. выступал в статьях против смертной казни как одним из проявлений насилия. А в 1883 г. он написал рассказ «Зверь», в котором по сути дела устраивается публичная казнь медведя, жившего прежде для потехи в доме помещика. Под стать самым пышным царским охотам, как театрализованное костюмированное действие, организовал деспот и самодур травлю провинившегося зверя: «Дядя вышел в лисьем архалуке и в лисьей остроконечной шапке, и как только он сел в седло, покрытое черною медвежьего шкурою с пахвами и паперсями, убранными бирюзой и “змеиными головками”, весь наш огромный поезд тронулся, а через десять или пятнадцать минут мы уже приехали на место травли и выстроились полукругом. Все сани были расположены полуоборотом к обширному, ровному, покрытому снегом полю, которое было окружено цепью верховых охотников и вдали замыкалось лесом»³¹. Охота подменяется расправой, публичная казнь становится увеселительным зрелищем, и это серьезный симптом, говорящий о падении нравов в обществе.

³⁰ Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1906. Вып. 1. С. 125–126.

³¹ Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1956. Т. 7. С. 269.

В своем рассказе Лесков переставил акценты: гневливый, суровый дядя рассказчика, разжигающий в себе и в окружающих звериные инстинкты, противопоставлен дикому зверю, который, напротив, дружелюбен и способен на те чувства и переживания, которых абсолютно лишен устроитель охоты. Подчеркивая трагизм положения, Лесков своего затравленного косматого персонажа сравнивает с героем шекспировской драмы – королем Лиром. В конце рассказа по законам жанра – святочной истории – происходит перерождение тирана. Раскаявшийся герой – на пути к праведничеству.

К рассказу Лескова примыкает и очень близкий по тематике и сюжету рассказ В.М. Гаршина «Медведи». Гаршин, побывавший на войне и воочию столкнувшийся с убийством, смертью, не мог мириться с насилием, в каком бы виде оно ни проявлялось. Борьба со злом, насилием, сочувствие к страданию – этими мотивами пронизано все творчество писателя. В рассказе «Медведи» люди со звериными инстинктами, жадные до зрелищ и равнодушные к чужой боли, страданию, даже смерти, устраивают заранее подготовленное публичное представление – расстрел медведей, живших в вольном цыганском таборе. Жестоким нравам провинциального города противопоставлена романтизированная автором жизнь цыган, которые далеки от растлевающей цивилизации, они сами, как дети природы, способны приручить диких животных и жить с ними во взаимопонимании. Сатирически изображенные обыватели города не только не понимают аморальности совершаемого, но даже вождельно ждут назначенного дня, цинично мечтая о той пользе, которую извлекут из мероприятия. Кульминационной сценой рассказа является то, как опьяненная кровью толпа мстит медведю, чуть было своим побегом не сорвавшему зрелище расправы: «Всякий, у кого было ружье, считал долгом всадить пулю в издыхающего зверя, и, когда с него сняли шкуру, она никуда не годилась»³².

Человек травит человека – об этом рассказ С.Н. Терпигорева «Первая охота». Казнь, травля – забава для деспота, и он устраивает охоту с доезжачими и собаками на своего же соплеменника – человека. А разъяренные волки, преследуемые охотниками, в рассказе Бориса Зайцева «Волки» терзают своего старого вожака, не сумевшего вывести их из круга смерти. Все эти произведения объединяет мотив жестокости, связанной с охотой. В автобиографическом рассказе Терпигорева, так же как и в рассказах «Медведи» Гаршина и «Зверь» Лескова, события подаются как воспоминания ребенка, впервые столкнувшегося с беспредельной жестокостью человека, и от этого становятся еще более драматичными.

Очерк молодого Чехова «На волчьей садке» – отклик на реальные события, происходившие в Москве на Ходынском поле. Пораженный увиденным, Чехов осудил не только сам факт травли зверей, но и бездушие кровожадной публики, поощряющей жесткость. Весьма важно замечание А.П. Чехова, который сам не был охотником и не одобрял подобное занятие, об отличии подлинной охоты, когда риску подвергаются обе стороны, как бы выступающие на равных, от преднамеренной публичной травли, когда силы заведомо не равны: «Не шутя осыпался человек перед волками, затеяв эту quasi-охоту!.. Другое дело – охота в степи, в лесу, где людскую кровожадность можно слегка извинить возможностью равной борьбы, где волк может защищаться, бежать...»³³ Гуманистический пафос рассказа Антоши Чехонте, как и фельетоны газеты «Московский листок», способствовали тому, что в 1883 г. садка волков стала производиться без публики.

Жанр охотничьего рассказа начал дискредитироваться в 1880-е годы не только «высокой» литературой, гуманистический пафос которой был направлен против насилия, жестоких инстинктов. Охотничий рассказ, подхваченный эпигонами, переместился на задворки литературы, приобщая специальные охотничьи издания к беллетристике. Он сделался достоянием и массовых юмористических изданий. Необходимо отметить, что в западноевропейской литера-

³² Гаршин В.М. Поли. собр. соч. СПб., 1910. С. 125.

³³ Чехов А.П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1974–1983. Т. 1. С. 119.

туре охотничий рассказ намного раньше стал подвергаться травестированию. В Англии уже в конце 1830-х годов Ч. Диккенс вместо охотничьего рассказа предложил публике антиохотничий, изобразив в «Посмертных заисках Пиквикского клуба» (1837) охотников, не умеющих заряжать ружья, садиться на лошадь. А во Франции в 1872 г. вышел роман Альфонса Доде «Необыкновенные приключения Тартарена из Тараскона». «Доблестный» охотник на львов Тартарен, представший перед читателем во всем великолепии охотничьей амуниции, посрамленный в своих «подвигах», явился предшественником комических персонажей Лейкина и Антоши Чехонте.

В России в юмористических журналах печатались рассказы сезонной тематики, написанные неохотниками про охотников, не умеющих стрелять. Редактор одного из самых популярных журналов Лейкин, автор книг с характерными названиями «Мученики охоты», «Воскресные охотники», пародировал жанр в своих рассказах. Большинство персонажей Лейкина – горе-охотники, стреляющие по воробьям, воронам и даже курам, чтобы далеко не ходить. Высмеивая охотников, Лейкин разрушал тот образ вдохновенного охотника-поэта, который явился жанрообразующим стержнем и идейным центром в тургеневском и аксаковском циклах. Нет в рассказах Лейкина и лирических картин природы, которые являются неотъемлемой частью охотничьих рассказов, воплощавших концепцию единства мира.

Состязаясь со своим патроном в остроумии, Антоша Чехонте тоже не упускал случая поострить над горе-охотниками, ссорящимися во время охоты ревнивыми мужьями, а заодно и нравами Отлетаевки («На охоте», «Петров день», «Двадцать девятое июня»). И хотя сюжетный репертуар, типы персонажей и принципы изображения были традиционны и даже заданы юмористу, уже в ранних рассказах наметился тот трагический аспект, который будет настойчиво развиваться на протяжении всего творчества писателя. Даже в самом раннем комическом рассказе «Первая охота» показаны охотники, которые не только смешны, нелепы, скандальны, но и гротескно кровожадны, они охотятся на все живое. В рассказе опрокидывается устоявшееся представление об охотниках, глубоко понимающих зверей, когда один из них вскрывает суслика, подбитого камнем, и, изрезав его на мелкие куски, заявляет, что у того нет сердца, а есть одни только кишки. Другой охотник – генерал «поднес перепелку ко рту и клыками перегрыз ей горло»³⁴.

Как известно, комическое в рассказах Чехова взаимодействует с серьезным. И охотничьи рассказы в этом смысле не исключение. Смешон охотник в рассказе «Он понял!» – это пародия на браконьера. Смешна и ситуация, в которую попал нарушитель «Вильгельм Тель». Но уже в этом раннем рассказе звучит грустная тема всего творчества Чехова – тема бездумного истребления себе подобных. Сдуру, от тоски убил незадачливый охотник птичку, скворца, у которого «на груди зияет рана, перебита одна ножка, на клюве висит большая кровавая капля...»³⁵ В своих произведениях Чехов показывает, как неброско, а порой даже незаметно происходит разрушительный процесс в нашей повседневной жизни («Он понял!», «Драма на охоте», «Свирель», «Степь», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»).

Как естественник Чехов, любивший Гете, увлекавшийся Дарвином, понимал, что все живые существа и организмы взаимодействуют, что постоянный круговорот в природе – источник обновления, что жизнь и смерть – двуединство бытия. Как поэт Чехов стремился к гармонии с природой, искал в ней успокоения от терзаний жизни, чувствовал и понимал ее красоту. Как биолог, анатом он знал, что человек – это животное, причем хищное животное. Как врач он лучше, чем кто-либо другой, чувствовал хрупкость жизни, незащищенность и уязвимость всякого живого существа, особенно человека, наделенного высокой нервной организацией, интеллектом.

³⁴ Чехов А.П. Поли. собр. соч. и писем. Соч. Т. 1. С. 72.

³⁵ Там же. Т. 2. С. 168.

В отличие от Тургенева Чехов не находил гармонии в мире, где каждое существо является одновременно хищником и жертвой. То, что Тургеневу казалось естественным ходом жизни, не нарушающим баланса сил в природе, то осмысливается Чеховым как нравственная трагедия. По сравнению со своими предшественниками (Тургеневым, Тютчевым) Чехов взглянул на мир другими глазами, мир представился ему не как прекрасно-гармоничный – дневной – или же хаотичный – ночной; он увидел, что в природе происходит постоянное взаимоистребление. И происходит оно каждый день, каждый час... незаметно для людей. В произведениях писателя как бы невзначай мелькают эпизоды о бездумно загубленной чужой жизни. Вот Дымов просто так, от избытка силы забивает насмерть ужа, а неожиданно появившийся у костра мужик Константин, находящийся от избытка же счастья в сомнамбулическом состоянии, держит в руках подстреленную дрохву, с которой даже и не знает, что делать («Степь»). Камышев («Драма на охоте») в раздражении убивает ни в чем не повинного попугая, а Треплев кладет к ногам Нины убитую им чайку. Чехов показывает, что люди равнодушны не только к мучениям птиц, животных, но и к страданиям, судьбе, жизни друг друга. Пьеса «Чайка» – это история бессмысленно, бездумно загубленных жизней. Сюжет пьесы был навеян реальным случаем из жизни. Этот случай Чехов описал в письме А.С. Суворину (8 апреля 1892 г.): «У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: “Голубчик, ударь его головкой по ложу...” Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым, влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать»³⁶.

Американский литературовед Саймон Карлинский написал статью о том, что Чехов был первым писателем в русской литературе, который поставил в своем творчестве экологическую проблему в современном ее понимании³⁷. Проблема взаимодействия человека и окружающей среды отражена, как показал Карлинский, в некоторых произведениях Чехова, начиная с 1887 года, с рассказа «Свирель». В них показано, какой ущерб наносит своими бездумными поступками человек природе и как в свою очередь ухудшение климата, понижение уровня воды в водоемах, исчезновение некоторых видов рыб и птиц, обеднение лесов сказывается на состоянии здоровья человека. В рассказе «Свирель» экологическими прозрениями наделен сельский пастух Лука Бедный. В пьесе «Дядя Ваня» в еще большей степени, чем в «Лешем», представлена тема бессмысленно истребляемых лесов. Экологические идеи, наиболее отчетливо прозвучавшие в трех названных произведениях, встречаются в той или иной форме и в других произведениях писателя.

Трудно согласиться с исследователями Г.А. Бялым и Г.П. Бердниковым³⁸, которые рассматривали рассказы Чехова «Агафья», «Счастье», «Свирель», «Художество», «Егерь» как цикл «Записок охотника», продолжающих тургеневскую традицию. Упомянутые рассказы Чехова не составляют то жанровое единство, которое выражает определенную концепцию видения мира. Чехов даже больше, чем его современники, способствовал распаду этого жанрового единства. Изменение мироощущения вело в конце XIX в. к разрушению жанра.

Итак, можно констатировать, что охотничий рассказ из низин, задворков литературы выдвинулся в центр благодаря таланту таких писателей, как Аксаков и Тургенев. Подхваченный и растиражированный литераторами-дилетантами, стремившимися законсервировать

³⁶ Чехов А.П. Поли. собр. соч. и писем. Письма. Т. 5. С. 49.

³⁷ *Karlinski Simon. Huntsmen. Birds. Forests and “Tree Sisters” // Chekhov's Great Plays. N. Y. University Press, 1981.*

³⁸ Бялый Г.Л. Чехов и «Записки охотника» // Учен. зап. Ленинград, гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена. Л., 1948. Т. 67; Бердников Г.П. А.П. Чехов. Идеи и творческие искания. М., 1984.

жанр, он снова отошел к периферии, стал предметом пародии и превратился в свою противоположность – антиохотничий рассказ – в период смены этико-эстетической парадигмы в литературе конца XIX в.

Логично было бы на этом завершить рассмотрение жанра охотничьего рассказа XIX в., однако элегические раздумья одного из последних певцов «дворянских гнезд», с которыми он был связан вековыми узами, смутные предчувствия «окаянных дней», лишивших его крова, того основательного дома, глядевшего «впадинами глаз» из-под «огромной шапки» соломенной крыши, не позволяют нам поставить на этом точку.

В повести И.А. Бунина «Антоновские яблоки» (1900) прозвучал завершающий аккорд ностальгической мелодии по угасающему дворянскому усадебному быту. И охота – часть той уходящей культуры, милой сердцу старины, которую писатель тщательно старается закрепить в памяти всю, вместе с запахами и звуками, и дарит нам, своим безвестным потомкам, эти документы-миражи.

«Бунин, – как пишет А. Твардовский, – отлично с детских лет, по крови, так сказать, знал всякую охоту, но не был таким уж завзятым охотником. Он редко остается один в лесу или в поле, разве что скачет куда-нибудь верхом или бродит пешком с ружьем или без ружья – в дни одолевающих его раздумий и смятений»³⁹. Охота для Бунина – это возможность погрузиться в эстетизируемую им уходящую жизнь. Для писателя поэтична вся атрибутика древней барской забавы: и загорелые, обветренные лица охотников, курящих трубки, и их одежда, и музыкальный гам собак, и призывные звуки рога, и названия мест охоты, и лошадь, с которой охотник чувствует себя слитым воедино, и радость гона, и запах грибной сырости, перегнивших листьев, мокрой древесной коры, и шумные разгоряченные застолья, и охотничьи трофеи – матерый волк, «который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол», и сладкая усталость перед сном, и даже возможность проспаться на другой день охоту и наслаждаться тишиной в доме, вороша родовые реликвии.

Бунин, всю жизнь остро ощущавший близость смерти, не видит в охоте того драматического смысла, который открылся его старшим современникам – Толстому, Чехову. Очевидно, сказалось его холодное трезвое знание того, что все таит в себе смерть: и жизнь, и красота, и любовь. Бунин эстетизирует мгновения встречи красоты и смерти во время охоты: «олень, могучий, тонконогий» «в стремительности радостно-звериной... красоту от смерти уносил»⁴⁰.

Щемящей ностальгией по былой невозвратной жизни проникнут и рассказ «Вальдшнепы» А.И. Куприна, который жил в эмиграции в Париже с 1920 по 1937 г. Этот рассказ был опубликован летом 1933 г. в парижской газете «Возрождение». Как пишет автор предисловия Роман Словацкий, Куприн вспоминает о той светлой поре, когда он «начинал свой творческий путь, собирая впечатления в зарайских окрестностях Коломны. Посещение этих мест в 1897–1901 годах, увлекательная охота, общение с местными жителями навсегда запечатлелись в памяти Куприна и воскресли в художественных образах, скрашивая заграничное изгнание...»⁴¹ Рассказ «Вальдшнепы», принадлежащий другой эпохе, написанный с другого берега, сохраняет, как и более ранний рассказ «Охота на глухаря» (1899), тургеневско-аксаковский дух. Оба рассказа – о странствиях охотника по лесам, о повадках зверей и птиц, о единении человека и природы, о встречах с крестьянами – детьми природы. Но в рассказе «Вальдшнепы» драматизм навсегда потерянного рая выражен всего в одном абзаце. Примечательно, что в собрании сочинений Куприна в 9-ти томах, изданном в советское время, именно этот небольшой абзац был купирован. Новая жизнь в России для писателя-изгнанника – катастрофа. Он

³⁹ Твардовский А.Т. О Бунине // Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1965. Т. 1. С. 39.

⁴⁰ Бунин И.А. Густой зеленый ельник у дороги (1905) // Собр. соч. Т. 1. С. 216.

⁴¹ Куприн А.И. Собр. соч.: В 9 т. М., 1973. Т. 8. С. 439–443.

действительно говорит (но автор предисловия по известным причинам не договаривает, ставя многоточие) о своей ностальгии по той предреволюционной жизни, с которой для него связана и охота: «Да вот пришла эта война проклятушая, а потом эти колхозы и другая неразбериха. И где они все: и лесник Егор, и Ильюша с Устюшей, и объездчик Веревкин, и все грамотные лесничие, и охота русская, и хозяйство русское, и прежние наши охотничьи собаки. Все как помелом смело. Ничего не осталось. А почему? Кто это объяснит?»⁴²

Не мог и Михаил Михайлович Пришвин объяснить эти перемены, принесшие не только неразбериху, но и разрушения, страдания, потери. В предисловии к «Рассказам охотника» он признается, что «охота лишь в незначительной степени» была для него спортом. «Моя охота, – продолжает писатель, – была средством сближения с природой»⁴³. Охота для Пришвина в 1930-е годы, когда пришло мучительное осознание жестокости, несправедливости современной жизни, понимание ненужности в новых условиях той великой традиции русской литературы, частью которой себя ощущал писатель⁴⁴, – это способ удалиться, очиститься, соединившись с природой. Добровольное отшельничество и странничество давало духовные и жизненные силы. «Прав Ап. Григорьев: странствие тем именно и хорошо, что чувствуешь себя в руках Божьих, а не человеческих», – читаем в «дневнике запись от 18 октября 1930 г.»⁴⁵. В своем дневнике Пришвин с горькой иронией писал об этих недолгих мгновениях истинного слияния с природой и отдохновения от несовершенств жизни: «Радость, когда выходишь на охоту, и видишь, как собака сдерживается моей рукой, вся кипит и дрожит: мое сердце дрожит и кровь вся кипит, совершенно как у собаки. Горюны всего мира, не упрекайте меня: ведь почти все вы еще спите, и когда вы проснетесь, обсохнет роса, кончится моя собачья радость и я тоже пойду горевать обо всем вместе с вами»⁴⁶.

Пришвин обладал удивительным свойством понимать все живое на каком-то инстинктивном уровне, на том уровне, на котором общаются все обитатели леса. Однажды Пришвин сказал: «Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а скажи – сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете “изучать” незабудку?»⁴⁷

В рассказе «Разговор птиц и зверей» мы узнаем, как птицы и звери понимают друг друга и предупреждают об опасности, созывают на трапезу. Как говорит егерь Михал Михалыч, звери читают, только не глазами, а носом: «Это можно и по собакам заметить. Известно, как они везде на столбиках, на кустиках оставляют свои заметки, другие потом идут и все разбирают. Так, лисица, волк постоянно читают; у нас глаза, у них нос. Второе у зверей и птиц я считаю голос. Летит ворон и кричит, нам хоть бы что. А лисичка наострила ушки в кустах, спешит в поле. Ворон летит и кричит наверху, а внизу по крику ворона во весь дух мчится лисица. Ворон спускается на пададь, и лисица уж тут как тут. Да что лисица, а разве не случалось тебе о чем-нибудь догадываться по сорочьему крику?»⁴⁸. Вот и он сам, писатель Пришвин, пытается читать мысли грачей, когда, в период коллективизации, как и они, чувствовал свою неприкаянность, о чем мог написать только в дневнике: «1 апреля, 1930 г. <...> Точно так прошлый год обманула весна, значит, вот почему так неохотно прилетали грачи, как будто

⁴² Куприн А.И. Вальдшнепы // Куприн А.И. Собр. соч. В 9 т. М., Худож. литература. 1973. Т. 8. С. 439–443.

⁴³ Пришвин М.М. Рассказы охотника. М., 1935. С. 7.

⁴⁴ В дневнике Пришвина читаем: «21 января 1931 г. “Крестьянский писатель” Каманин рассказывал о тех чудовищных антихудожественных требованиях, которые применяются к крестьянским писателям, – что, например, “аксаковщина” (вероятно, понимаемая как созерцание природы) является преступлением» // Пришвин М.М. Дневники. М., 1990. С. 181.

⁴⁵ Там же. С. 179.

⁴⁶ Там же. С. 176.

⁴⁷ Пришвин М.М. Незабудки. Вологда: Вологодское кн. изд-во, 1960. С. 110.

⁴⁸ Пришвин М.М. Рассказы охотника. С. 290.

каждый, прилетев, думал: “По правде говоря, весна уже закончилась в Советской России, и летать бы вовсе не следовало, но все как-то неловко потерять связь с предками”»⁴⁹.

Охота в эти голодные годы не только давала жизненный тонус, вдохновляла писателя, но и являлась средством к существованию, возвращая к своему первоначальному состоянию, когда лес был для человека домом: «6 августа 1930 г. Прошла моя жестокая молодость, теперь я ружье беру, чтобы добыть себе пищу. Вот убил вчера двух глухарей, теперь хватит нам дня на три, и я иду за грибами стариком, будто иду в свой настоящий дом, где такой мир, такая радость, такая слава жизни в росе. Грибы такие глазастые смотрят на меня со всех сторон. Кто не обрадуется этому всему?»⁵⁰

От несовершенств жизни охота лечила и С.Т. Аксакова, который писал сыну Ивану 12 октября 1849 г.: «Скверной действительности не поправишь, думая о ней беспрестанно, а только захвораешь, и я забываюсь, уходя в вечно спокойный мир природы»⁵¹. К подобному заключению приходит и Пришвин: «...если о современной жизни раздумывать, принимая все к сердцу, то жить нельзя, позорно жить...»⁵²

Как признавался сам писатель, более всего он ценил красоту. 24 августа 1930 г. он записал в своем дневнике: «Вероятно, моя страсть к наслаждению красотой сильнее, чем охотой»⁵³. Поэта природы разглядел в Пришвине Горький, о чем написал своему коллеге из Сорренто 22 сентября 1926 г.: «Я думаю, что такого природолюбца, такого проницательного знатока природы и чистейшего поэта ее, как Вы, М.М., в нашей литературе – не было»⁵⁴. Многие из охотничьих рассказов Пришвина – это открытие потаенного мира жителей леса, о характерах и повадках которых рассказывает зоркий охотник, природовед, поэт. Конечно, эти рассказы, краткие по форме, написанные простым языком, учащие понимать и любить красоту природы, постигать ее язык, интересны и детям. Сам Пришвин, мучительно размышляя о современной литературе, о своем назначении как писателя, решает, что в сложившихся обстоятельствах надо писать для детей: «5 сентября 1930 года. Хлебнул я чувство своей ненужности и в “Новом мире”, и вообще в мире современной литературы: видимо все идет против меня и моего “биологизма”. Надо временно отступить в детскую, вообще в спец, литературу, потому что оно и правда...»⁵⁵

Другой писатель, Виталий Валентинович Бианки, увлекает детей в чарующий многоголосый мир леса – зверушек и птиц. Все в этом мире взаимосвязано и едино. Шагнув в фантастический мир природы, дети вместе с мудрым учителем открывают таинственное, неизведанное. Мир Бианки – это одновременно сказки и быль. Охотники в рассказах Бианки сильные, выносливые и добрые. В рассказе «Музыкант» медвежатник увидел медведя, сидевшего на опушке у разбитого грозой дерева и оттягивавшего лапой щепу, которая, как струна, издавала музыкальные звуки. Когда проходивший мимо колхозник спросил медвежатника, почему тот не убил медведя, он ответил: «Да как же в него стрелять, когда он такой же музыкант, как и я?»⁵⁶ Старик-медвежатник, любивший музыку, сам учился играть на скрипке, что ему плохо давалось.

Музыка наполняет сказочный лес в рассказе «Кто чем поет?»: «Слышишь, как музыка гремит в лесу? Слушая ее, можно подумать, что все звери, птицы и насекомые родились на свет певцами и музыкантами. Может быть, так оно и есть: музыку ведь все любят, и петь всем

⁴⁹ Пришвин М.М. Дневники. С. 167.

⁵⁰ Там же. С. 173.

⁵¹ 1849 – ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 3. д. 16. л. 70 об. Цит. по: Кошелев В.А. Аксаков С.Т. // Биографический словарь. Русские писатели. М., 1989. Т. 1. С. 37.

⁵² Пришвин М.М. Дневники. 11 августа 1930. С. 174.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Горький А.М. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1956. Т. 29. С. 475.

⁵⁵ Пришвин М.М. Дневники. С. 175.

⁵⁶ Бианки В.В. Музыкант // Михаил Пришвин. Борис Житков. Виталий Бианки. Павел Бажов. М., 1982. С. 433.

хочется. Только не у каждого голос есть»⁵⁷. На все лады распевают обитатели леса – каждый как может. А заканчивается рассказ лукавым вопросом автора, обращенным к юным читателям, и неожиданным ответом на него: «И слышно с земли: будто в вышине барашек запел, заблеял.

А это Бекас.
Отгадай, чем поет?
Хвостом!»⁵⁸

В рассказе «Первая охота» щенок, задумавший поохотиться, узнает мир, а вместе с ним и маленькие читатели знакомятся с повадками птиц и насекомых.

Добрые, поэтичные, умилительные и хрустально чистые охотничьи рассказы Бианки словно открывают дверцы «заветного сундучка», даря юным читателям путешествие в сказку жизни.

Охота и рыбалка занимали большое место в жизни известных советских писателей – Пришвина, Бианки, Паустовского, Шолохова, Казакова. Важное воздействие, которое оказывает сближение с природой на духовный мир человека, отражено в разных по жанру произведениях – рассказах, пьесах и др. Напряженные эпизоды единоборства человека и зверя находим и в сложной структуре романа. Василий Песков в очерке «Шолохов – рыбак и охотник»⁵⁹ приводит цитату из книги С.Т. Аксакова, указывая на традицию русской литературы, которая поистине неиссякаема: «Все охоты: с ружьем, соколами, сетями и удочкой за рыбой – все имеют одно основание. Все охотники должны понимать друг друга: ибо охота, сближая их с природою, должна сближать между собой». Охота сближает советских писателей с их предшественниками, писателями XIX в., привнесшими в охотничью литературу поэзию, философию, гуманизм.

Травля волка – одна из ярких сцен в романе Шолохова «Тихий Дон», масштабном произведении о бушующих страстях человеческих, – неизбежно вызывает ассоциации с толстовским описанием захватывающего азартного гона в «Воине и мире». Отчаянно смелые охотники и жители казачьей станицы в романе Шолохова вступают в рукопашный бой с матерым, утверждая превосходство человека над зверем: «Григорий увидел, как двое казаков, бросив плуг, бежали наперерез волку, норовившему прорваться к логоу. Один – рослый, в казачьей краснооколой фуражке, со спущенным под подбородок ремешком, – махал выдернутой из ярма железной занозой. И тут-то неожиданно волк сел, опустив зад в глубокую борозду. Седой кобель Ястреб с разлета перемахнул через него и упал, поджимая передние ноги; старая сука, пытаясь остановиться, чертила задом бугристую пахоту, не удержавшись, напоролась на волка. Тот резко мотнул головой, сука пластом зарикошетила в сторону. Черный громадный клуб насевших на волка собак, качаясь, проплыл по пахоте несколько сажень и покатился шаром. Григорий подскочил на полминуты раньше пана, прыгнул с седла, упал на колени, отходя за спину руку с охотничьим ножом»⁶⁰. Как и у Толстого, охотничья доблесть сродни воинской.

Пожалуй, толстовскую традицию продолжает в охотничьих рассказах и Юрий Казаков. Жизнелюбие, причастность к вечному само-возрождению природы составляют нравственную основу рассказов Казакова. В рассказе «На охоте» «стеклянный скрип журавлей», «чистый и грустный запах росы», «присмиривший тихий лес», «чистый печальный воздух» – все это создает поэтическое настроение. А сюжет этого рассказа, в котором тянется «ниточка от отца

⁵⁷ Там же С. 368.

⁵⁸ Там же. С. 369.

⁵⁹ Песков В. Шолохов – рыбак и охотник // Комсомольская правда. 2010. 28 окт.

⁶⁰ Шолохов М.И. Собр. соч.: В 8 т. М., 1975. Т. 1. С. 194.

к сыну, от сына, ставшего отцом, к его сыну» передает трагизм быстротечной человеческой жизни и одновременно вечное величие и красоту мира.

Рассказ «Арктур – гончий пес» (1957) посвящен памяти М.М. Пришвина. Это рассказ о слепой охотничьей собаке, в котором писатель запечатлел мир восприятия и переживаний собаки, что сближает его с лучшими произведениями русской литературы о животных – толстовскому «Холстомеру», чеховской «Каштанке», многим рассказам Пришвина, Паустовского. Обостренное восприятие запахов и звуков собакой, лишенной зрения, писатель передает с особой силой высокого трагизма и красоты. Арктур «слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим, – пишет Казаков, эти звуки замечательно улавливая и запечатлевая. – Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи, за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины – кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам...»⁶¹ И запахи для него «звучали как музыка», особенно когда он оказался в лесу.

Охота приводит автора в глубинку, в леса, знакомит с лукавыми, иной раз чудаковатыми людьми. Перед писателем предстает жизнь грубая, подчас жестокая, не похожая на городскую. Рассказ «Ни стуку, ни грюку» внешне, как и многие рассказы Тургенева, вполне охотничий: герой, молодой москвич, бродит по лесам, болотам, лугам, охотится на дичь, а ночью засыпает в сарае на сеновале. Однако в рассказе юному мечтателю открывается иная, доселе неизвестная ему жестокая сторона жизни. Как и у Тургенева, у Казакова охота – это возможность войти в контакт с людьми другого социального круга, увидеть Россию «с другого бока». В отличие от Тургенева Казаков отнюдь не идеализирует жизнь глубинки и ее обитателей.

Боль за бездумно уничтожаемые леса и животных пронзительно прозвучала в повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Уже в самом названии – противопоставление красоты и жестокости. Егор Полушкин, мастер – золотые руки, человек не от мира сего. Он заплатил своей жизнью, вступив в неравный бой с варварами-туристами и всеми потребителями, шабашниками, которые грубо и бессмысленно уничтожают природу: леса, рыбу, животных, птиц. В лесу взору Егора предстала картина, от которой мороз пошел по коже: «Голые липы тяжело роняли на землю увядающий цвет. Белые, будто женское тело, стволы тускло светились в зеленом сумраке, и земля под ними была мокрой от соков, что исправно гнали корни из земных глубин к уже обреченным вершинам.

– Сгубили, – тихо сказал Егор и снял кепку, – за рубли сгубили, за полтиннички».

Итак, охота – занятие древнее, парадоксальным образом связанное с жестокостью и одновременно с чутким, нежным отношением человека к природе, лесам и их обитателям, – на протяжении многих веков вдохновляет писателей, является неиссякаемым источником для философского, поэтического осмысления мира, ставит проблемы нравственного выбора.

Маргарита Одесская
1955–1956. Т. 4. С. 397.

⁶¹ Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал. Избранные рассказы. М., 1977. С. 83–84.

«Трубадур, странствующий с ружьем и лирой»

Сергей Тимофеевич Аксаков

Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах

К читателям

Мои «Записки об ужении рыбы» и особенно «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» были так благосклонно приняты читающей публикой, что я решился написать и напечатать все, что знаю о других охотах, которыми я некогда с горячностью занимался. Кроме удовлетворения собственной потребности – есть что-то невыразимо утешительное и обольстительное в мысли, что, передавая свои впечатления, возбуждаешь сочувствие к ним в читателях, преимущественно охотниках до каких-нибудь охот. Вот причина, заставляющая меня писать: я признаюсь в ней откровенно, а равно и в желании, чтобы книжка моя имела такой же успех, как и прежние мои охотничьи записки.

Вступление

Охота, охотник!.. Что такое слышно в звуках этих слов? Что таится обаятельного в их смысле, принятом, уважаемом в целом народе, в целом мире, даже не охотниками?.. «Ну, это уж его охота, уж он охотник», – говорят, желая оправдать или объяснить, почему так неблагоприятно или так странно поступает такой-то человек, в таком-то случае... – и объяснение всем понятно, всех удовлетворяет! Как зарождается в человеке любовь к какой-нибудь охоте, по каким причинам, на каком основании?.. Ничего положительного сказать невозможно. Конечно, нельзя оспорить, что охота передается воспитанием, возбуждается примером окружающих; но мы часто видим, что сыновья, выросшие в доме отца-охотника, не имеют никаких охотничьих склонностей и что, напротив, дети людей ученых, деловых ex professo, никогда не слышавшие разговоров об охоте, – делаются с самых детских лет страстными охотниками. Итак, расположение к охоте некоторых людей, часто подавляемое обстоятельствами, есть не что иное, как врожденная склонность, бессознательное увлечение. Такая мысль всего убедительнее подтверждается, по моему мнению, наблюдениями над деревенскими мальчиками. Сколько раз случалось мне замечать, что многие из них не пройдут мимо кошки или собаки, не толкнув ее ногой, не лукнув в нее камнем или палкой, тогда как другие, напротив, защищают бедное животное от обид товарищей, чувствуют безотчетную радость, лаская его, разделяя с ним скудный обед или ужин; из этих мальчиков непременно выйдут охотники до какой-нибудь охоты. Один, заслышав охотничий рог или лай гончих, вздрагивает, изменяется в лице, весь превращается в слух, тогда как другие остаются равнодушны, – это будущий псовый охотник. Один, услышав близкий ружейный выстрел, бросается на него, как горячая легавая собака, оставляя и бабки, и свайку, и своих товарищей, – это будущий стрелок. Один кладет приваду из мякины, ставит волосяные силъя или настораживает корыто и караулит воробьев, лежа где-нибудь за углом, босой, в одной рубашонке, дрожа от дождя и холода, – это будущий птицелов и зверолов. Других мальчиков не заставишь и за пряники это делать. Чем объяснить такие противоположные явления, как не врожденным влечением к охоте? – Обратив внимание на зрелый возраст крестьян, мы увидим то же. Положим, что между людьми, живущими в празд-

ности и довольстве, ребячьи фантазии и склонности, часто порождаемые желанием подражать большим людям, могут впоследствии развиться, могут обратиться в страсть к охоте в года зрелого возраста; но мы найдем между крестьянами и, всего чаще, между небогатыми, которым некогда фантазировать, некому подражать, страстных, безумных охотников: я знал их много на своем веку. Кто заставляет в осенние дожди и слякоть таскаться с ружьем (иногда очень немолодого человека) по лесным чащам и оврагам, чтоб застрелить какого-нибудь побелевшего зайца? Охота. Кто поднимает с теплого ночлега этого хворого старика и заставляет его на утренней заре, тумане и сырости, сидеть на мокром берегу реки, чтоб поймать какого-нибудь язя или головля? Охота. Кто заставляет этого молодого человека, отлагая только на время неизбежную работу или пользуясь полдненным отдыхом, в палящий жар, искусанного в кровь летним оводом, таскающего на себе застреленных уток и все охотничьи припасы, бродить по топкому болоту, уставая до обморока? Охота, без сомнения одна охота. Вы произносите это волшебное слово – и все становится понятно.

Оттенки охотников весьма разнообразны, как и сама природа человеческая. Некоторые охотники, будучи страстно привязаны предпочтительно к одной охоте, любят, однако, хотя не так горячо, и прочие роды охот. Другие охотники, переходя с детских лет постепенно от одной охоты к другой, предпочитают всегда последнюю всем предыдущим; но совершенно оставляя прежние охоты, они сохраняют теплое и благодарное воспоминание о них, в свое время доставлявших им много наслаждений. Есть, напротив, третий разряд охотников *исключительных*: они с детства до конца дней, постоянно и страстно, любят какую-нибудь *одну* охоту и не только равнодушны к другим, но даже питают к ним отвращение и какую-то ненависть. Наконец, есть охотники четвертого разбора: охотники до всех охот без исключения, готовые заниматься всеми ими вдруг, в один и тот же день и час. Такие охотники в настоящем, строгом смысле слова – ни до чего не охотники; ни мастерами, ни знатоками дела они не бывают. По большей части они делаются добрыми товарищами других охотников.

Не разбирая преимуществ одного рода охотников перед другими, я скажу только, что принадлежу ко второму разряду охотников. В ребячестве начал я с ловли воробьев и голубей на их ночевках. Несмотря на всю ничтожность такой детской забавы, воспоминание о ней так живо в моей памяти, что, признаюсь, и на шестьдесят четвертом году моей жизни не могу равнодушно слышать особенного, торопливого чиликанья воробья, когда он, при захождении солнца, скачет взад и вперед, перепархивает около места своего ночлега, как будто прощаясь с божьим днем и светом, как будто перекликаясь с товарищами, – и вдруг нырнет под застреху или желоб, в щель соломенной крыши или в дупло старого дерева. – От ловли воробьев на ночевках перешел я к ловле других мелких птичек волосатыми силками, натканными в лубок, к ловле конопляными необмолоченными снопами, опутанными веревочкой с силками, и, наконец, к ловле разными лучками из сетки. Потом пристрастился я к травле перепелок ястребами и к ловле перепелов сетью на дудки. Все это на некоторое время заменила удочка; но в свою очередь и она была совершенно заменена ружьем. Единовластное владычество ружья продолжалось половину моего века, тридцать лет; потом снова появилась на сцене удочка, и, наконец, старость, а более слабость зрения, хворость и леность окончательно сделали из меня исключительного рыбака. Но я сохраняю живое, благодарное воспоминание обо всех прежних моих охотах, и мои статьи о них служат тому доказательством.

Все охоты, о которых я упоминал: с ружьем, с борзыми собаками, с ястребами и соколами, с тенетами и капканами за зверями, с сетями, острогою и удочкой за рыбою и даже с *поставушками* за мелкими зверьками, – имеют своим основанием ловлю, добычу; но есть охоты, так сказать, бескорыстные, которые вознаграждаются только удовольствием: слушать и видеть, кормить и разводить известные породы птиц и даже животных; такова, например, охота до певчих птиц и до голубей.

Первые по крайней мере веселят слух охотников пением, но вторые и этого удовольствия доставить не могут: иногда только услышишь их голос, то есть глухое воркованье. Но я знал страстных охотников до голубей всех возможных пород: бормотунов, двухохлых, турманов, мохноногих горлиц и египетских голубей. Эти охотники проводили целые дни на голубятне, особенно любясь на голубей мохноногих, у которых мохры, то есть перья, выросшие из ног, до трех вершков длиною, торчали со всех сторон и даже мешали им ходить. Теперь редко встретишь охотников до этих сортов голубей, но в городах и столицах еще водятся охотники до голубей *чистых* или *гонных*, особенно до турманов, гоньба которых имеет свою красоту. Быстро носясь кругами в высоте, стая гонных, или чистых, голубей то блесит на солнце яркой белизной, то мелькает темными пятнами, когда залетит за облако, застеляющее стаю от солнечных лучей. Турманы имеют особенное свойство посреди быстрого полета вдруг свертывать свои крылья и падать вниз, перевортываясь беспрестанно, как птица, застреленная высоко на лету: кувыркаясь таким образом, может быть, сажен десять, турман мгновенно расправляет свои легкие крылья и быстро поднимается на ту же высоту, на которой кружится вся стая. Такие проделки очень живописны, всякий посмотрит несколько минут с удовольствием на эту живую картину; но охотники с увлечением смотрят на нее по несколько часов сряду, не давая садиться усталым голубям на родимую крышу их голубятни.

Содержание непевчих птиц и даже некоторых из пород дичи в больших клетках или садках имеет уже особого рода прелесть, которая может быть понятна только людям, имеющим склонность к наблюдениям над живыми творениями природы: это уже любознательность.

Несмотря на увлечение, с которым я всегда предавался разного рода охотам, склонность к наблюдению нравов птиц, зверей и рыб никогда меня не оставляла и даже принуждала иногда, для удовлетворения любопытства, жертвовать добычею, что для горячего охотника не шутка.

Воспоминание обо всем этом доставляет мне теперь живейшее наслаждение, и поделиться моими воспоминаниями с охотниками всех родов – сделалось моим постоянным желанием. Может быть, мой пример возбудит и в других такое же желание. Сколько есть опытных охотников на Руси, круг действия которых был несравненно обширнее моего! Сколько любопытных сведений и наблюдений могли бы сообщать они! Кроме того, что издание таких сведений и наблюдений составило бы утешительное, отрадное чтение для охотников, оно было бы полезно для естественных наук. Только из специальных знаний людей, практически изучивших свое дело, могут быть заимствованы живые подробности, недоступные для кабинетного ученого.

Охота с ястребом за перепелками

Будите охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою, зело потешно, и угодно, и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие. Избирайте дни, ездите часто, напускайте, добывайте не лениво и бескучно, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу.

О славные мои советники и достоверные и премудрые охотники! Радуйтесь и веселитесь, утешайтесь и наслаждайтесь сердцами своими добрым и веселым сим утешением в предыдущие лета!

Древ. росс. Вивлиофика, ч. III, книга «Урядник сокольничья пути»

Хотя содержание сей статьи положительно объясняется ее названием, но я хочу предварительно сказать несколько слов о ястребах вообще. Все хищные птицы высшего, среднего и даже низшего разряда могут быть разделены на две породы: соколиную и ястребиную. Принадлежащие к первой ловят свою добычу, устремляясь, *падая* на нее с высоты, для чего им необходимо подняться на известную меру вверх. Принадлежащие же к породе ястребиной, напротив, ловят свою добычу в угон, то есть находясь с ней в одинаковом горизонтальном положении,

гонятся за ней и, по резвости своего полета, догоняют. У нас речь идет о последних. — Ястреба разделяются, по их величине, на три рода. Самые большие, достигающие величины крупной индейки, называются *гусятниками*, потому что *берут*, то есть ловят, диких гусей. Такими ястребами, попадающимися довольно редко, можно травить зайцев и даже лисиц. Я имел одного такого ястреба уже двух осеней, которого, как диковинку, привез моему отцу один башкирец. Он рассказывал, что затравил им двух лис, чему очень можно было поверить, судя по силе и жадности птицы. Я прошу позволения у читателей рассказать судьбу этого ястреба: он был чисторябый, то есть светло-серый, и так тяжел, что и сильный человек не мог его долго носить на руке. Башкирцы охотятся с такими ястребами, а чаще с беркутами, всегда верхом и возят их на палке, которая приделывается к седельной луке. По несчастию, этот редкий ястреб жил у нас очень недолго. Мы затравили им только двух беляков, которых сошли по первой октябрьской пороше, и для опыта затравили русского гуся, привыкшего хорошо летать. Вот как было это сделано: стая дворовых гусей повадилась ежедневно ходить пешком на господское гумно, стоявшее на довольно высокой горе; накушавшись досыта и находя неудобным и затруднительным сходить вниз с крутой горы с полными зобами, которые и на ровном месте перетягивают их вперед, гуси обыкновенно слетали с горы и опускались прямо на житный двор. В урочное время я поставил охотника с ястребом за хлебную кладью, у самого того места, где гуси должны были слетать с горы, а сам зашел сзади и погнал гусей, которые, ковыляя и падая, дошли до спуска с горы и поднялись; ястреб бросился, свалился с одним гусем и, к общему нашему удовольствию, сладил с ним без всякого труда. Мы не дали ястреба в обиду другим гусям (без чего они бы забили его крыльями и защипали бы своими носами) и накормили на добыче до отвала. Несмотря на то, что эта славная хищная птица жила у нас только две недели, с ней случилось диковинное приключение: была у нас летняя кухня на острове, в которой давно уже перестали готовить; в эту кухню, на толстой колодке, стоявшей посредине кирпичного пола, сажали на ночь этого большого ястреба. Охотник, которому был он отдан на руки, приходит однажды поутру и видит, что ястреб, привязанный должником к колодке, стащил ее с места, сидит, распустив крылья, в углу и держит в когтях огромную сову, еще живую. Испугавшись, не испортила ли она ястреба, охотник прибежал сказать об этом мне; мы с отцом пришли немедленно и нашли ястреба в том же положении. С большим трудом вынули из его когтей очень большую, почти белую сову, которая тут же издохла; на ястребе никаких знаков повреждения не оказалось. Если б я не сам видел этот диковинный случай — я бы не вдруг ему поверил; кухня была заперта; кроме трубы, которая оказалась не закрытою, другого отверстия в кухне не было; должно предположить, что сова попала в кухню через трубу для дневки и что она залетела недавно, на самом рассвете, но как поймал ее ястреб, привязанный на двухаршинном должнике, — придумать трудно; во всяком случае жадность, злобность и сила ястреба удивительны. Я даже был уверен, что никакой ястреб не кинется и не возьмет совы, особенно большой, потому что она сама вооружена длинными острыми когтями. Охотники наши думали, что сова сама напала на ястреба, но такое предположение невероятно. Через несколько дней после приключения с совой наступила оттепель, снег совершенно сошел, сделался отличный узерк, и я послал охотника с ястребом верхом поискать в наездку русаков, которые тогда совершенно выцвели, а сам поехал стрелять тетеревов. Охотник, поездив несколько времени по горам и полям и не найдя нигде зайцев, сделал соображение, что они все лежат в лесу; а как на беду он взял с собой ружье, то, подъехав к лесу, привязал на опушке лошадь к дереву, посадил ястреба на толстый сучок, должник привязал к седлу, а сам отправился стрелять в лес зайцев. Очевидно, что все это было сделано крайне глупо, и вот какие вышли последствия: лошадь, вероятно, чего-нибудь испугалась, оторвала повод, стащила ястреба с сучка и ускакала; только к вечеру воротилась она домой. Несчастный ястреб был еще жив, но с вытянутыми и вывихнутыми ногами; через сутки он издох... Так жалостно и совершенно даром погибла эта ред-

кая хищная птица. Я видел потом еще двух ястребов-гусятников; оба были меньше моего и гораздо темнее пером.

Второго рода ястреба (вдвое меньше первых) называются *утятниками*, потому что ими обыкновенно травят уток. Надобно сказать правду, что охота с большими ястребами, гусятниками и утятниками, – охота пустая и малодобычливая, особенно с последними. Для травли ястребами необходимо условие, чтобы птица поднималась близко, иначе они не могут ее догнать; утки же всегда сидят на воде или на берегу воды, в которую сейчас могут броситься, а ястреба никакой плавающей птицы на воде не берут и брать не могут. Итак, травля уток производится по маленьким речкам или ручьям и озерам, находящимся в высоких берегах, для того, чтоб охотник мог подойти очень близко к утке, не будучи ею примечен, и для того, чтоб лет ее продолжался не над водою; если же ястреб схватит утку и она упадет с ним в воду, то редко можно найти такого жадного ястреба, который не бросил бы своей добычи, ибо все хищные птицы не любят и боятся мочить свои перья, особенно в крыльях, и, вымочивши как-нибудь нечаянно, сейчас распускают их как полужонтик и сидят в укромном месте, пока не высушат совершенно. Очевидно, что травля уток без особенной, удобной местности невозможна. Иногда травят утятниками молодых тетеревов, но для того необходимо, чтобы выводка находилась в чистом поле; травить же в редколесье неудобно, потому что ястреб может убиться об дерево, чего он сам по инстинкту так боится, что, бросившись за тетереvenком и увидя перед собой даже редкие деревца, сейчас взмоет кверху или возьмет в сторону. Притом *помешавшийся* молодой тетерев летит очень проворно, и ястреб догонит его только в таком случае, если он поднимется очень близко. Из всего сказанного мною следует, что травля уток и тетеревов не может быть добычлива. Совсем другое представляет охота за перепелками с мелкими ястребами третьего разряда, которые и называются *перепелятниками*; об них и об охоте с ними поговорю я подробно.

Я уже сказал, что ястреба-гусятники – большая редкость, так что немногим охотникам удавалось видеть их на воле; утятники попадают чаще, а перепелятников деревенские жители видят по несколько раз в день или по крайней мере замечают эффект, производимый появлением или присутствием ястреба-перепелятника, которого часто глазами и не увидишь. Эффект состоит в том, что вся дворовая и около дворов живущая птица закричит всполохным криком и бросится или прятаться, или преследовать воздушного пирата: куры поднимут кудахта-нье, цыплята с жалобным писком побегут скрыться под распушенные крылья матерей-наседок, воробьи зачирикают особенным образом и как безумные попрячутся куда ни попало – и я часто видел, как дерево, задрожав и зашумев листьями, будто от внезапного крупного дождя, мгновенно прятало в свои ветви целую стаю воробьев; с тревожным пронзительным криком, а не щебетаньем, начнут черкать ласточки по-соколиному, налетая на какое-нибудь одно место; защекочат сороки, закаркают вороны и потянутся в ту же сторону – одним словом, поднимется общая тревога, и это наверное значит, что пробежал ястреб и спрятался где-нибудь под пове-тью, в овине, или сел в чашу зеленых ветвей ближайшего дерева. Иногда так и не увидишь ястреба. Он переждет тревогу, весьма ему невыгодную, потому что она предупреждает о нем тех птиц, которые могли бы сделаться его добычей, да, вероятно, надоедает и пугает его весь этот писк, крик, шум и преследование, – переждет и улетит! Но я всегда любил такие явления общей суматохи, всегда стерег вылет ястреба из его убежища и часто видал, как он, то быстро махая крыльями, то тихо плывя, промелькнет и скроется в кустах уремы или в ближайшем лесу.

Все, что я стану говорить о наружном виде ястребов-перепелятников, об их выкармливание, вынашивание и проч., совершенно прилагается и к двум первым родам. Перепелятники, пером светло-серые, называются *чисторябыми*; они бывают посветлее и потемнее. Оренбургские охотники приписывают это различие в пере (то есть в цвете ястребиной *крыши*) влиянию дерев, на которых они вывелись, и потому светлых называют *березовиками*, а темных – *дубовиками*. Ястреба коричнево-пестрые называются красно-рябыми, их гнезда всегда находятся на

ольхах, а потому их зовут *олишняками*. Надобно заметить, что они мельче других ястребиных пород. Хотя странно приписывать цвет перьев птицы тому дереву, на котором она вывелась, и хотя я всегда плохо этому верил, но я должен сознаться, что несколько опытов, сделанных мною самим, подтверждают мнение охотников. – Самка перепелятника (как у всех хищных птиц) гораздо больше и сильнее *чеглика*, то есть самца, который для травли не употребляется по своей малосильности и стомчивости. Я пробовал воспитывать и вынашивать перепелятников-чегликов: они в выноске гораздо понятнее и покладливее самок. Я травил ими воробьев и всяких мелких птичек, даже перепелок; но чеглик-перепелятник так слабосилен, что легкую перепелку не *угонит*, а с сытой старой едва сладит и нередко выпускает ее из когтей. Поршков перепелиных он ловит хорошо и то не помногу. Поймав штук пять-шесть, он уже и их не догоняет и даже не летит с руки, на которую присядет, если очень устал. Чегликов-утятников употребляют иногда для травли перепелок, но это имеет свои неудобства: для перепелки он слишком силен и, поймав ее, не вдруг опускается на землю. В книге «Урядник сокольников-пути» царя Алексея Михайловича, которую всякий охотник должен читать с умилением, между прочим сказано: «Добровидна же и копцова добыча и лет. По сих доброутешна и приветлива правленных (то есть выношенных) ястребов и челигов (то есть чегликов; иногда называются они там же *чеглоками*) ястребых ловля; к водам рыщение, ко птицам же доступание». Из сих немногих строк следует заключить: 1) что копцов вынашивали и что ими травили, чего я и другие мне известные охотники никак добиться не могли и признали их к ловле неспособными; 2) что *ястребы челиги*, то есть ястребиные чеглики, употреблялись для охоты точно так же, как и самки; но должно думать, что это были ястреба большие, а не перепелятники. Последнее доказывается словами: «к водам *рыщение*», а равно и тем, что перепелок никогда около Москвы, в достаточном числе для охоты, не бывало, да и быть не могло. Следственно, речь идет о травле уток, вероятно мелких чирков, к чему чеглики-утятники могут быть пригодны.

Ястреба выют, или кладут, свои гнезда в лесу из мелких прутиков, на толстых деревьях, всегда на одном из главных сучков и близ самого древесного ствола; самки кладут по четыре, а чаще по три яйца; во всякой выводке есть один чеглик. Охотники заранее осматривают леса, особенно те места, где выводились прежде ястреба, и по разным признакам знают наверное, где именно находится гнездо; но близко к нему до вывода молодых не подходят, потому что самка бросит яйца. Время выемки ястребов из гнезд зависит от охотников: кто из них не скупается уходом за маленькими ястребятками, для корма которых нужно мясо мелко рубить, тот вынимает молодых в пушку; такие ястребятки ручнее, и вынашивать их легче; но многие охотники утверждают, что они бывают тупее, то есть не так жадны, резвы и сильны, как ястребятки оперившиеся, которых ловить уже приходится силов на длинной лутошке, потому что, когда человек влезет на дерево, – они распрыгаются по сучьям. Хотя я выкармливал ястребят разных возрастов, но как это случалось в разные годы, то я как-то не замечал разницы в их качествах; но что касается до слетков, то есть до молодых ястребов, слетевших с гнезд, заловивших на воле и пойманных потом в *кутню*,

[*Кутнею* называется длинная клетка из сетки, разгороженная на три отделения или клетки же; в средней сидят живые воробьи для приманки, а две боковые имеют спускные дверцы также из сетки, которые поднимаются и настораживаются, как в чепках. Молодой ястреб (слеток), увидев воробьев, бросается к ним через которую-нибудь боковую клетку, тронет сторожок, дверца опустится – и ястреб пойман. Иногда попадают и старые ястреба, но очень редко.]

то я утвердительно могу сказать, что они гораздо лучше гнездарей, но зато и вынашивать их гораздо труднее. Вынутых ястребят сажают в просторную клетку из прутиков или из сетки,

а если они очень малы, то сначала кладут в круглое лукошко, в котором они, как в гнезде, станут сидеть смирно, плотно прижавшись друг к другу; даже кормят их из рук рубленным свежим мясом каких-нибудь птиц: голуби и воробьи считаются самою здоровою пищею, которою можно скоро поправить слишком исхудавших ястребов, нателить, говоря по-охотничьи. Впрочем, можно давать баранину, говядину, телятину и зайчатину, если она случится. Когда ястреба подрастут, то дается каждому, чтобы они не дрались между собою, по особому куску мяса, всегда один раз в сутки, и если это мясо будет птичье, то непременно с перьями и костями. Изобильный корм, особенно парным мясом только что убитой птицы, – самое верное средство вырастить хороших ястребов: они будут *родни* (велики), сильны, выведут перья ровно, отчего летают резвее и поспевают ранее к охоте. Я знавал таких охотников, у которых ястреба не только получали корм неточно, несвоевременно, но дня по два иногда постились. У таких ястребов всегда бывают на стволах хвостовых перьев пережабины беловатого цвета и самые перья как будто помяты, надломлены и взъерошены; эти знаки называются *заморами*. Если их много – ястреб туп на лету. В клетке надобно сделать нащетки или поставить колодки для ночевки и отдельного сиденья ястребят после корма; последнее нужно для того, чтобы они как-нибудь не подрались между собою и не помяли полных пищею зобов, что бывает для них иногда даже смертельно. Зоб просиживается часов в восемь, то есть пища разлагается и спускается из зоба в кишки, после чего скидывается ястребами так называемая *погадка*, которая есть не что иное, как перышки, косточки и жилки, все неудобосваримое из проглоченного мяса, свернувшееся в продолговатый, овальный сверточек, извергаемый ежедневно хищными птицами ртом. Когда ястреб *скинул погадку*, можно идти с ним в поле на охоту; до совершения же этой операции даже вольные хищные птицы, как утверждают охотники, ничего не ловят и не едят. Нужно также, чтобы в клетке постоянно стояло корытце с водой, ежедневно перемняемой; в жары ястреба часто пьют и купаются, что способствует их здоровью, чистоте и скорой переборке перьев. Хотя в гнезде и на сучьях выводного дерева нечего им пить и негде купаться, но слетевшие с гнезд и старые ястреба любят и то и другое во время летнего зноя.

Наконец, пришло время, обыкновенно в половине или исходе июля, *поднимать* и *вынашивать* ястребов. Вечером, когда довольно смеркнется, охотник осторожно влезает в клетку и бережно берет, вдруг обеими руками, спящего ястреба, который спит, всегда поджав одну ногу со сжатыми в кулачок пальцами, а голову завернув под крыло. При поимке неспящего ястреба днем непременно были бы помяты его перья и сам бы он напугался. Охотник вытягивает ему ноги, складывает ровно крылья, выправляет хвостовые перья и, оставя на свободе одну голову, спеленывает его в платок, нарочно для того сшитый вдвое, с отверстием для головы, плотно обвивает краями платка и завязывает слегка шнурком или тесемкой; в таком положении носит он на ладони спеленанного гнездара по крайней мере часа два, и непременно там, где много толпится народа; потом, развязав сзади пеленку, надевает ему на ноги *нагавки с опутинками*, которые привязываются обыкновенною петлею к *должнику*,

[*Нагавками, или обносцами*, называются суконные или кожаные, но подшитые тоненьким суконцем онучки, шириною в большой палец, которыми обертывают просторно, в одну рядь, ноги ястреба; на онучках, то есть нагавках, нашиты опутинки, плетеные тесемочки волос в тридцать, длиною четверти в полторы; каждая опутинка нижним концом своим продевается в петельку, пришитую к нагавке, затягивается и держится крепко и свободно на ноге. *Должник* – тонкий ремень, или, пожалуй, шнурок, аршина в полтора длиною, наглухо пришитый к охотничьей рукавице. Должник устроен довольно затейливым образом: другой конец его прикрепляется к железному пруту, вершка в два с половиною длиною; прут просовывается весьма свободно в круглое отверстие костяной дощечки, просверленной на середине (длинною вершка в два, а шириною в палец), и держится в дощечке на широкой шляпке,

какая бывает у большого гвоздя; к обоим концам косточки прикреплен своими концами ремешок (в четверть длиною), вытянутый посредине кверху; он составляет острый треугольник, которому основанием служит дощечка; к верхнему острому углу ременного треугольника привязываются простою петлею обе опутинки; стоит дернуть за их концы – петля развяжется, и ястреб может лететь. – Само собою разумеется, что охотничьи названия всех уборов хищных птиц могут называться различно в разных местах России и что уборы эти бывают роскошны и бедны. Драгоценная книга царя Алексея Михайловича, глаголемая: «Урядник: новое уложение и устройство чина сокольничья пути», показывает, как великолепно убивали соколов и кречетов: «И мало поноворя, подсокольничий молвит: *начальные, время наряду и час красоте*. И начальные емлют со стола наряд: первый, Парфентий, возьмет клубочок, по бархату червчатому шит серебром с совкою нарядною; второй, Михей, возьмет колокольцы серебряны, позолочены; третий, Леонтий, возьмет обнасы и должик (должник) тканые с золотом волоченым. И уготовав весь наряд на руках, подошед к подсокольничему, начальные сокольники наряжают кречета». Очевидно, что колокольцы (бубенчики) всякий раз, когда нужно, привязывались к ногам ловчих птиц.]

наглухо прикрепленному к кожаной рукавице или перчатке с правой руки, на которой всегда будет сидеть выученный ястреб. В это же время прикрепляют к ястребу бубенчик, в чем хотя нет необходимости, но что на охоте бывает очень полезно. Дутый медный бубенчик, величиною с крупный русский орех или несколько побольше, но круглый, звонкий и легкий, припиливается в хвосте, для чего надобно взять ястреба в обе руки, а другому охотнику разобрать бережно хвост на две равные половинки и, отступя на вершок от репицы, проколоть одно из средних хвостовых перьев посредине обыкновенной медной булавкой; на нее надеть за ушко бубенчик, острый конец воткнуть в другое среднее соседнее перо и вогнать булавку до самой головки; она будет так крепко держаться, что точно врастет в перо; иногда ушко бубенчика отломится, а булавка останется навсегда. Прежде охотники привязывали бубенчик к ноге; но этот способ несравненно хуже: бубенчик будет беспрестанно за что-нибудь задевать и как раз сломается; когда же ястреб с перепелкой сядет в траву или в хлеб, то звука никакого не будет; а бубенчик в хвосте, как скоро ястреб начнет щипать птицу, при всяком наклонении головы и тела станет звенеть и дает о себе знать охотнику, в чем и заключается вся цель.

Потом охотник идет в самое темное место, в какой-нибудь сарай или хлев, бережно снимает всю пеленку и старается посадить ястреба на свою правую руку, защищенную от его когтей рукавичкой. Эта минута самая трудная; иногда долго нельзя усадить ястреба, и требуется много ловкости и сноровки, чтобы он, бившись и вися на опутинках, не тронул, то есть не вытянул ног, отчего ястреба навсегда остаются слабыми. Иногда гнездарь, смирный и привычный к человеку, наскучивший принужденным положением в пеленке и боящийся в темноте летать (к чему он и не привык в клетке), сразу садится на руку; разумеется, не то бывает с слетком, как сказано будет ниже. Как скоро ястреб усядется на руке, то надобно стоять смирно и оставаться с полчаса в том же темном месте; потом растворить двери, отчего сделается светлее и ястреб непременно станет слетать с руки; когда же он успокоится, охотник потихоньку выходит на вольный воздух и ходит с своим учеником по местам уединенным и открытым. Перед солнечным восходом сон начнет одолевать ястреба, и он делается смирнее: тут можно поступать смелее: поглаживать его, поправлять крылья, которые он целые сутки держит в распущенном положении (не подбирает), и потягивать полегоныку за хвост, чтобы он крепче держался когтями за руку охотника и не дремал. Часов в семь утра можно посадить ястреба на колодку, в безопасном месте и дать ему отдохнуть часа два, а чтобы он не скоро заснул и не крепко спал, то надобно его раза три вспрыснуть водою: ястреб не заснет до тех пор, пока не

провянут перья, которые он беспрестанно будет прочищать и перебирать своим носом. Охотник также может соснуть в это время. После короткого отдыха, которого слеткам никогда в первый день не дают, потому что они гораздо упрямее и крепче, надобно взять ястреба на руку и носить до вечера, выбирая места, где меньше толкается народу: внезапное и быстрое появление нового человека всегда пугает и заставляет слетать с руки молодых ястребов; особенно не любят они, если кто-нибудь подойдет сзади. Вынашивая гнездаря, смирного и привычного к человеку, не нужно его слишком вымаривать, а потому можно перед вечером дать ему соснуть еще часика полтора. Во вторую ночь продолжается та же история, как и в первую; на другой день, если ястреб уже привыкает хорошо сидеть на руке и если он не очень сыт (то есть не жирен), то можно к вечеру предложить ему мясо. Хотя редко, но случается, что на другой день вечером ястреб-гнездарь, который не ел уже полторы сутки, да и в предыдущий день был кормлен очень мало, станет есть, сидя на руке у охотника: в таком случае можно его *подкормить*, то есть покормить немного, дать третью часть против обыкновенного. На третий день ястреб делается гораздо смирнее: бессонница и голод отнимут у него ту врожденную энергию дикости, которую еще не совсем истребила клетка. Вечером надобно его начать *вабить* и заставить *перейти* на руку. Это делается следующим образом: ястреба надобно на что-нибудь посадить, не отвязывая должника, потом взять кусок свежего мяса, показать сначала издали и потом поднести ему под нос, и когда он захочет схватить его клювом, то руку отдернуть хотя на четверть аршина и куском мяса (вабилом)

[Обыкновенно для вабила употребляется крыло какой-нибудь птицы (всего лучше голубиное), оторванное с мясом: охотнику ловко держать в руке папоротку крыла, которое не должно быть ошипано.]

поматывать, а самому почмокивать и посвистывать (что называется *вабить*, то есть звать, манить). Ястреб сначала будет вытягивать шею то на одну, то на другую сторону и наклоняться, чтоб достать корм, но, видя, что это невозможно, решится перелететь или хотя перескочить с своего места на манящее его вабило в руке охотника; этот маневр надобно повторить до трех раз, и всякий раз вабить дальше, так, чтобы в третий – ястреб перелетел на сажень; тут надо покормить его побольше, потом посадить часа на два в уединенное место и вообще накормленного ястреба носить очень бережно, наблюдая, чтобы он, слетев с руки, не ударился о что-нибудь и не помял зоба. На четвертый день ястреб, начав с сажени, перейдет на руку расстояние в десять и двадцать сажен: в таком случае следует покормить еще побольше, вполсыта. Охотник продолжает на следующие дни прежнюю выноску, и, наконец, в семь или восемь дней птица делается так смирна и ручна, что охотник, вабивший с каждым днем все дальше и дальше, в положенный час кормления, посадив ястреба на забор или на крышу, сам уйдет из виду вон – и только свистнет особливym позывом, которого звук трудно передать буквами, похожим несколько на слог *нфу*, как ястреб сейчас прилетит и явится на руке охотника. Впрочем, иногда даже и гнездарь, несколько упрямый, не вдруг привыкает *сейчас* лететь на свист и голос охотника, а сначала начнет оглядываться направо и налево, как будто прислушиваясь, потом начнет кивать головой, вытягивать шею и приседать, что почти всегда делает птица, когда собирается с чего-нибудь слететь; вот, кажется, сию секунду полетит, совсем уж перевесился вперед... и вдруг опять принимает спокойное положение и даже начинает носом перебирать и чистить свои правильные перышки. Но бывает иногда, что посреди таких занятий, вовсе без приготовлений, ястреб внезапно слетает с места, замахав сначала проворно крыльями, потом, увидев охотника, он быстро опускается и бежит низом, то есть плавно плывет, стелется, как ласточка, над землей... воробьи зачирикают и попрячутся, сороки зашекочат, куры закудачуют, а ястреб, подбежав вплоть к охотнику, вдруг взмоет кверху и вцепится в вабило, которое охотник успел уже укоротить, так что только маленький кусочек мяса остался наружи. – Срок и строгость выноски зависят от понятливости и покорности ястреба и также от крепости или

слабости его сил. Иногда попадаетея и гнездарь, особенно поднятый поздно, столь упрямый, что и в десять дней не добьешься от него полного повиновения, тогда как другого на шестой день можно притравить, а на седьмой идти с ним в поле. В выноске ястреба нужна строгая точность, неослабное внимание, а главное – нескучливость. Например: ястреб упрямится, не идет на руку иногда два часа сряду, тогда как накануне через такое же расстояние перешел скоро и сегодня должен был перейти еще скорее и дальше; скучливому охотнику надоест стоять на одном месте, махать рукой и понапрасну звать ястреба, он сам подойдет поближе и – испортит все дело: на завтрашний день ястреб захочет еще большего сокращения расстояния и переломить его упрямство еще труднее; он очень памятливы и впоследствии, когда выносятся совсем и станет ходить на руку отлично хорошо, вдруг вспомнит, что его когда-то побаловали, заупрямится без причины и совершенно неожиданно. Выноска должна происходить без всякой уступки: не идет на руку – не давать есть, не давать спать; если ястреб худ и слаб, то лучше просто покормить на руке или в садке, но никак не уменьшать расстояния в переходе на руку. Вообще выноска – дело довольно трудное, а ленивому человеку будет не по вкусу. Спать приходится весьма немного. Хорошо, когда есть другой благонадежный охотник, которому можно поручить и доверить ястреба на время, а самому часок-другой уснуть; но надо быть осторожным в выборе помощника; мне нередко случалось видеть, как спит охотник, присев к забору, и спит ястреб, сидя у него на руке, тогда как ястребу не следовало в это время даже и дремать. Можно утвердительно сказать, что едва ли третья часть ястребов вынашивается хорошо. Единовременный корм самым свежим мясом и сбережение сытой птицы – также дело хлопотливое, и также утвердительно можно сказать, что все ястреба погибают рановременно от неосторожности и недосмотра охотников.

Слетка вынашивать всегда гораздо труднее, а если попадется прошлогодний ястреб и охотник захочет, за неимением других, его непременно выносить, то это требует много времени, хлопот и беспокойств, да и неблагонадежно. Такой ястреб не может ловить отлично хорошо уже потому, что его всегда надо держать в черном теле, следовательно несколько слабым, а *из тела* (то есть сытый, жирный) он ловить не станет и при первом удобном случае улетит и пропадет.

Слеток вынашивается точно так же, как и гнездарь, только строже, точнее и долее. Обращая внимание господ охотников на последнее обстоятельство: чем долее вынашивается ястреб до начала травли, тем лучше, тем благонадежнее в будущем. Чтоб выносить скоро, надобно усмирить ястреба бессонницей и голодом, выморить его, а это иногда так ослабляет силы всего организма, что после ничем нельзя восстановить его, тогда как продолжительная носка дает возможность выучить ястреба сытого, полного сил, вкоренить в него ученье одной привычкой, которая гораздо вернее насильственной покорности от голода и бессонницы; даже в продолжение травли все свободное от охоты время, кроме пятичасового сна, надобно носить ястреба на руке постоянно, особенно слетка. Удивительно, какая разница между слетками и гнездарами! Я пробовал кормить последних таким отличным кормом, всегда парным, какого лучше, особенно в таком изобилии, не могла доставать мать своим ястребят; пойманный слеток далеко не бывал так сыт, как поднимаемый на руку гнездарь, но между тем всегда слеток оказывался как-то глаже, чище пером, складнее, резвее и жаднее гнездаря. У последнего глаза бывают белесовато-мутного цвета, без всякого выражения, а у слетка глаза живые, ярко-желтые, *наигранные*, по выражению охотников, то есть зоркие и блестящие. Правда, впоследствии и гнездарь наиграет глаза: они пожелтеют и получают некоторый блеск, но никогда не сравняются с глазами вольного ястреба. – Возвращаясь к делу. Итак, ястреб, какой бы он ни был, выношен совершенно, то есть ходит на руку отлично, даже без вабила, на один свист; надобно его притравить: дать ему поймать птицу и накормить до отвала на первой пойманной им добыче. Слетка не нужно притравливать, разве для того, чтоб он брал птицу покрупнее, для гнездаря же это самое важное дело; если в клетке он не поважен щипать птицу в перьях, то иногда,

будучи уже выношен хорошо, не вдруг бросится на живую птицу, даже не посмотрит на нее: такого ястреба с первого разу не притравишь; но если в садке ему давали иногда птиц в перьях и живых воробьев или других птичек, то притравить его легко. Охотники уверяют, что притравливать надобно всегда на крупную птицу и что такой ястреб-перепелятник будет жаднее и станет брать вольных крупных птиц, как-то: уток-чирят, некрупных тетеревят, дупельные-пов, галок, сорок и голубей. Я в этом сомневаюсь, и хотя сам всегда притравливал ястребов голубями и некоторые мои ястреба точно брали поименованных мною птиц, но, кажется, это происходило от врожденной злобности и от крепости в ногах и пальцах, а не от первоначальной притравы, потому что не все, а только редкие бывали так жадны и сильны; притом другие охотники притравливают обыкновенно перепелками, а ястреба выходят отличные и даже иные берут дичь и птицу покрупнее.

Выношенного ястреба, приученного видеть около себя легавую собаку, притравливают следующим образом: охотник выходит с ним на открытое место, всего лучше за околицу деревни, в поле; другой охотник идет рядом с ним (впрочем, можно обойтись и без товарища): незаметно для ястреба вынимает он из кармана или из *вачика*

[*Вачик* – холщовая или кожаная двойная сумка; в маленькой сумке лежит вабило, без которого никак не должно ходить в поле, а в большую кладут затравленных перепелок.]

голубя, предпочтительно молодого, привязанного за ногу тоненьким снурком, другой конец которого привязан к руке охотника: это делается для того, чтоб задержать полет голубя и чтоб, в случае неудачи, он не улетел совсем; голубь вспархивает, как будто нечаянно, из-под самых ног охотника; ястреб, опутинки которого заблаговременно отвязаны от должника, бросается, догоняет птицу, схватывает и падает с добычей на землю; охотник подбегает и осторожно помогает ястребу удержать голубя, потому что последний очень силен и гнездарю одному с ним не справиться; нужно придержать голубиные крылья и потом, не вынимая из когтей, отвернуть голубю голову. Тут надобно дать полную свободу ястребу; пусть он возится и управляется с добычей как ему угодно, лишь бы место было гладко; он ошиплет сам перья с голубя и, проглотив сначала голову и шею, изорванные в кусочки охотником, наестся до отвала, так что перестанет рвать мясо. Тогда охотник, взяв осторожно ястреба на руку, относит его домой, сажает на колодку и не трогает до утра, чтобы он мог выспаться хорошенько. Если протравление, или притрава, совершилась удачно, то повторять ее не нужно; если же, например, ястреб бросился, но не схватил голубя или схватил, но не удержал, то надобно повторить притраву и добиться, чтоб ястреб взял птицу хорошо. В случае притравы успешной на другой день после обеда, когда жар посвалит, охотник идет с ястребом в поле в сопровождении собаки, непременно хорошо дрессированной, то есть имеющей крепкую стойку и не гонящейся за взлетевшею птицею; последнее качество собаки необходимо, особенно для гнездара, который еще не вловился: если собака кинется на него, когда он схватит перепелку и свалится с ней в траву, то ястреб испугается, бросит свою добычу, и трудно будет поправить первое впечатление.

Итак, охотник выходит в поле, имея в вачике *непрерывно* вабило; собака приискивает перепелку, останавливается над ней, охотник подходит как можно ближе, поднимает ястреба на руку как можно выше, кричит пиль, собака кидается к перепелке, она взлетает, ястреб бросается, догоняет, схватывает на воздухе и опускается с ней на землю. Повторяется вчерашняя история, то есть ястреб накармливается досыта. На третий день начинается настоящая травля, но в самом умеренном числе; более осьми и много десяти перепелок травить не следует. Притом и возни с ястребом будет много; в каждую перепелку он так вкогтится, что не вдруг отнимешь, потому что надобно это делать бережно, отоптав кругом траву, чтоб не помять перья у ястреба, и вот каким образом: левою рукою должно закрыть пойманную перепелку от глаз

ястреба, вместе с его ногами, а правую рукою – отгибать когти, для чего нужно сначала разогнуть приемный передний коготь и потом задний, тогда разогнутся остальные сами собою. Иной ястреб так сердит, что когда разогнут когти на обеих его ногах и отнимут добычу, то он сожмет пальцы в кулачок, так что они замрут и долго иногда остаются в этом судорожном состоянии. Отняв перепелку, охотник, за спиною у себя, отрывает ей голову, кладет к себе в вачик, а шейку с головкой показывает ястребу, который и вскакивает с земли на руку охотника, который, дав ему клонуть раза два теплого перепелиного мозжечка, остальное прячет в вачик и отдает ястребу после окончания охоты. Охотник дает время ястребу опомниться, оправляет его растопыренные от злости крылья, и, когда он перестанет когтить руку и совсем успокоится, заставляет собаку приискать новую перепелку: где их много, особенно около просяниц, там попадают они на всяком шагу. Если собака приищет выводку поршков (перепелят), то их травить не надо; во-первых, они подрастут и к осени можно их затравить *в поре*, и во-вторых, такая легкая добыча балует молодого ястреба. Одного первого поршка непременно затравишь, потому что не знаешь, над какой перепелкой стоит собака; но потом надобно ее отозвать от перепелиной выводки и отвести в сторону: затравленный поршок пойдет на корм ястреба. – С каждым днем увеличивается число затравленных перепелок, и, наконец, травля продолжается от выхода охотника в поле вплоть до ночи. Мне рассказывали, что в старые годы охотники затравливали по сту перепелок, но сам я более пятидесяти не принашивал; впрочем, другие, неутомимые, охотники травили и в мое время до семидесяти штук в одно поле, в числе которых находилось иногда до десяти коростелей, особенно к осени, когда они из болот все выбегают в поля и опушки.

Коростеля берет не всякий молодой ястреб, потому что коростель кричит, когда его догоняют; крик его похож на огрызание хорька или на щекотанье сороки. Если гнездарь не возьмет его с первого раза, то уже не будет брать никогда. Слеток же крику дергуна не боится.

Бывало, в иной вечер охотники с четырьмя ястребами приносили более двухсот перепелок. Это целый ворох. За поздним временем некогда и темно было чистить и щипать птицу, потому всех перепелок раскладывали на большом лубке, заранее прилаженном на льду в погребе. Это делалось сколько для того, чтобы невыпотрошенная дичь не испортилась, столько же и для того, чтобы она хорошенько охолодела. Теплую, жирную перепелку щипать невозможно, потому что с выдернутыми перышками будет отставать и прорываться кожа, растянутая жиром до необыкновенной тонины. На другой день, рано поутру, в прохладной западной тени погреба начиналась шумная работа: повара потрошили, а все дворовые и горничные девушки и девочки, пополам со смехом, шутками и бранью щипали перепелок; доставалось тут охотникам, которых в шутку называли «побродяжками» за их многочисленную добычу, без шуток надоедавшую всем, потому что эту пустую работу надобно было производить осторожно и медленно, не прорывая кожи, за чем строго смотрела ключница. Перепелок сушили, коптили, а всего более солили. Сначала употребляли в пищу свежих, в паштетах, соусах и жаренных на сковороде в сметане; но скоро они, по своей приторности, так надоедали, что никто не мог смотреть на них без отвращения. – Число затравленных перепелок зависело не от числа приисканных собакою, а от силы ястреба и, главное, от того, что, поймав перепелку, он иногда слишком злобится, когтит, не дает отнять своей добычи, и время уходит даром: впрочем, у молодого ястреба это добрый знак. Травля тогда бывает вполне успешна, когда ястреб немедленно выпускает из когтей перепелку, как скоро охотник наложит на нее руку. Это последнее делает только ястреб старый, пересидевший зиму в садке; впрочем, и молодой гнездарь к концу осени уже перестает сердиться, или, лучше сказать, упрямиться, и легко уступает свою добычу охотнику.

Живо воображая себе эту охоту теперь, с удовольствием и вместе с удивлением вспоминаю, как я увлекался ею в ребячестве и какие страстные охотники были до нее мои товарищи, люди пожилые и даже старики! В других губерниях, например в Курской, травля пере-

пелок составляет промысел однодворцев; но в Оренбургской губернии, кажется, и до сих пор никто не охотится за ними для выгод денежных. Тогда у нас было три охотника, я четвертый; соревнование кипело горячее: чей ястреб лучше и кто затравит перепелок больше! Бывало, не знаешь, что делать от нетерпения, от ожидания, когда жар посвалит и можно будет ехать в поле. Охотники не позволяют травить в жаркие дни часов до пяти пополудни, утверждая, что ястреб заленится и заиграет. Это точно иногда бывает. В таком случае, если ястреб как-нибудь улетит совсем и через несколько дней будет пойман, надобно продержать его некоторое время в садке, чтобы он забыл свой побег, и потом вынашивать вновь, хотя не так уже строго. Впрочем, и собаке искать и охотнику ходить, конечно, в жар тяжело; но в дни серенькие или к осени, уже прохладные, как скоро ястреб скинет погадку, можно хоть с утра идти с ним в поле. Травишь, бывало, до ночи и всякий раз ропщешь, что скоро садится солнышко и рано наступают сумерки! По заходе солнца перепелки сидят уже не так крепко, летят шибче, поднимаются от земли выше и перемещаются дальше; ястреб же утомился, ловит не жадно, и нередко случается, что он не догоняет перепелок легких, то есть не так разжиревших, чекуш, как их называют охотники, потому что они на лету кричат похоже на слоги *чек, чек, чек*, – не догонит, повернет назад и прямо сядет на руку охотника или на его картуз, если он не подставит руки. Это называется *ястреб ходит на руку с оборотом*. – Нечего делать, надо возвращаться домой; сядешь на охотничьи дрожки и едешь шагом, кормя дорогой ястреба и пересчитывая в уме затравленных перепелок. Замечательно, что этот счет никогда не бывает верен: как ни считаешь аккуратно – всегда ошибаешься хоть одной штукой, а иногда двумя и тремя. Без сомнения, главное удовольствие в охоте доставляет резвость, ловчивость ястреба и доброе чутье и вежливость легавой собаки. Они так свыкаются между собою, что это удивительно: ястреб так умеет различать поиск собаки, что по ее движениям и по маханью хвостом знает, когда она близко добирается до перепелки, особенно понимает стойку собаки: он уже не спускает с нее глаз, блестящих какой-то пронзительною ясностью, весь подберется, присядет, наклонится вперед и готов броситься каждое мгновение. Ястреб уже совершенно не боится приближения собаки, не слетает с наместа или колодки, когда она подходит, и часто под самым ее рылом щиплет пойманную добычу. Если ястреб без бубенчика и свалится с перепелкой в высокую траву или нежатый хлеб, то для скорейшего отыскания его обыкновенно употребляют собаку, и она, найдя ястреба, который притаится и приляжет в траве, сделает стойку и начнет махать хвостом от удовольствия; если же охотник далеко и ее не видит в густом хлебе, то начинает лаять. Если ястреб так свыкается с собакой, то еще более привыкает к своему хозяину: у другого охотника он долго не будет так ловить и особенно ходить на руку, как у того, кто его выносил и охотился с ним сначала. Когда перепелки жирны, а ястреб резов и силен, то можно не подходить очень близко к найденной перепелке, а велеть собаке издали спутать ее: тогда на дальнем расстоянии можно дольше любоваться резвостью ловчей птицы. Иные горячие охотники криком поощряют в это время своего ястреба, как псовые охотники собак: «Эх, милый! ну, ну, ну, подцепи; не промахнись!» и пр. и пр. Про лихого ястреба говорят, что он как пуля догоняет перепелку.

Самая богатая, добычливая травля перепелок бывает во второй половине августа и, смотря по погоде, иногда в начале сентября. Перепелки превратятся в жир, отяжелеют и, пролетев несколько шагов, падают на землю; даже не видя ястреба, поднимаются неохотно, а завидя его, лежат так плотно, что мне случалось брать их руками; невежливая и поваженная к тому собака переловит много таких перепелок. С особенною жадностью охотиться, бывало, в начале сентября, потому что каждый день ожидаешь перемены в погоде и начала *пропада*-нья-перепелок: никак нельзя сказать, что они отлетают, – они именно пропадают с каждым днем. Это всегда случается при наступлении холодного ненастья, особенно с северным ветром или морозом. Первое уменьшение гораздо значительнее и заметнее, а потом с каждым днем травишь менее и спустишься штук на шесть, на пять. Тут все охотники обыкновенно бросают

травлю; но я продолжал ее упорно; ездил и ходил целые дни по всем любимым местам исчезающих перепелок, как-то: по широким межам, которые в Оренбургской губернии бывают в сажень ширины, поросшим густою травой и мелким кустарником чилизника, бобовника и вишенника, по залежам, начинающим лужать и зарастающим круговинами необыкновенно мягкой и густою шелковистою травкою; также по жнивью, зазеленевшему по местам длинными полосами казульки, жабры и череды, а всего лучше около нежатога просянища, брошенного за малостью урожая. Не один десяток верст проедешь и исходишь, бывало, чтобы затравить одну перепелку... наконец, нет ни одной, на другой день то же – надобно посадить ястреба на зимнюю квартиру.

Пороки ястребов бывают следующие: часто случается, что молодой ястреб *охватывается* и проносится мимо перепелки или даже садится за ней в траву, а перепелка, особенно легкая, пробежав немного, быстро поднимается и возьмет большой перед; ястреб же оправившись, если и погонится за ней, то уже не догонит; иногда даже схватит, по-видимому, перепелку на лету и вместе с ней упадет на землю: охотник подбегает и находит, что ястреб держит в когтях траву или какой-нибудь прутик, а перепелки и след простыл. Это показывает или горячность, которую охотники выражают словом *обварился*, или – слабость в ногах; первое пройдет от опытности, а второе, если не происходит от худобы случайной, бывает неисправимо. Худобу же поправить легко: стоит дня два поменьше травить, побольше кормить парным мясом и побольше давать спать, одним словом – понателить ястреба. Иногда бывает совсем противное: ястреб плохо ловит от лени, от того что жирен; такого, разумеется, следует повыморить: поменьше кормить, побольше носить и не давать много спать. У сильных ястребов, даже у несытых, встречается иногда особенный недостаток: они *носят*, говоря по-охотничьи, то есть, поймав перепелку, не сейчас опускаются на землю, а летят с нею сажень пятьдесят, а иногда сто, и потом опускаются – это очень скучно и утомительно. Для избежания такого невзгодья подлепляют у ястреба воском, в самых корнях, приемные когти, чтоб они сделались короче и чтоб ястреб, опасаясь, что перепелка вырвется, сейчас опускался с нею в траву. Наконец, попадают ястреба просто глупые, тупые, не резво летающие, лентяи и ротозеи; они по большей части слабосильны, и таких надо выпускать на волю. Хорошего ловца можно узнать с первого взгляда: на руке он сидит бодро и весело, перо лежит у него гладко, головка маленькая, спина широкая, стан круглый, посадка стопкой, ноги здоровые и крепкие, но не длинные, емь большая, пальцы твердые, когти острые, умеренно круглые (нехорошо, когда они пологи, еще хуже, если слишком круто загнуты), глаза живые и пронзительные. Верной приметой считается, что ястреб хорош, если у него на хвосте находится семь «черней», то есть семь поперечных темных полос. Все противоположные признаки изобличают ястреба посредственного или плохого.

Травля ястребами-перепелятниками другой дичи, кроме перепелок и коростелей, весьма незначительна, и обыкновенные охотники ею не занимаются, разве представится очень благоприятный случай сам собою. Но я любил эти опыты и пробовал травить жадными перепелятниками тетеревят, которых они берут очень хорошо, если выводка захвачена в чистом поле и если тетеревята малы, а как скоро зайдут за полтетерева, то таких уже догнать не могут, да и не удержат; дупелей также берут хорошо, если они очень жирны и поднимаются из-под самого рыла собаки; но если чуть подальше, то не догоняют. Я затравил в продолжение моей охоты с ястребами одного жирного осеннего вальдшнепа совершенно нечаянно, думая, что собака ищет по коростелю в лесной опушке; затравил двух чирков и одного болотного молодого кулика; голубей русских перетравил множество, а также галок и сорок; но только два ястреба из нескольких десятков ловили у меня отлично последних трех птиц. По мнению охотников, их потому берет не всякий ястреб, что голубь очень силен, галка черна, а сорока щекочет и больно дерется клювом и ногами. Первая и последняя – причины справедливые и весьма уважительные: но точно ли не нравится черный цвет ястребу – утверждать не могу. Вся хитрость состоит в том, что ястребу надобно нечаянно, из-за чего-нибудь, близко налететь на этих птиц,

в противном случае он их не догонит. Один охотник при мне травил сорок, даже зимой, старым ястребом, но вот каким образом: он выбрасывал кости и всякий сор под самым окошком своей избы, сороки налетали, а он поднимал тихонько оконницу, подносил ястреба, который, возрясь в сорок, бросался и захватывал которую-нибудь почти на месте. Этот охотник в продолжение всей зимы почти ежедневно травил таким образом сорок и кормил ими ястреба, который оставался совершенно здоров, начинал линять очень рано, в начале мая, и совершенно поспевал к травле еще в конце июня месяца: очевидно, что мясо сорок хищным птицам здорово. Во время линянья надобно ястреба посадить в садок, хорошо кормить и не трогать. Ястреба могут жить у доброго и попечительного охотника по несколько лет; год от года становятся они пером светлее, белесоватее и, наконец, сделаются как будто седые. У меня не жили ястреба более двух зим и всегда погибали от какого-нибудь недосмотра; один из них улетел во вторую зиму и не воротился: я полагаю, что он как-нибудь погиб, потому что был очень ручен и большой пискун. Надобно заметить, что некоторые гнездари пишат, когда проголодаются, а другие – никогда.

Я помню у одного охотника ястреба шести осеней; это была чудная птица, брал все что ни попало, даже грачей; в разное время поймал более десяти вальдшнепов; один раз вцепился в серую дикую утку (полукрякву) и долго плавал с ней по пруду, несмотря на то, что утка ныряла и погружала его в воду; наконец, она бросилась в камыш, и ястреб отцепился; уток-чирят ловил при всяком удобном случае; в шестое лето он стал не так резов и умер на седьмую зиму внезапно, от какой-то болезни. Он был так умен, что, идя в поле, охотник не брал его на руку, а только отворял чулан, в котором он сидел, – ястреб вылетал и садился на какую-нибудь крышу; охотник не обращал на него внимания и отправлялся, куда ему надобно; через несколько времени ястреб догонял его и садился ему на голову или на плечо, если хозяин не подставлял руки; иногда случалось, что он долго не являлся к охотнику, но, подходя к знакомым березам, мимо которых надо было проходить (если идти в эту сторону), охотник всегда находил, что ястреб сидит на дереве и дожидается его; один раз прямо с дерева поймал он перепелку, которую собака спугнула нечаянно, потому что тут прежде никогда не бывало перепелок. У этого ястреба можно было взять из когтей птицу совершенно живую и неповрежденную и посадить в садок на зиму, что часто и делали; только охотник накладывал руку на пойманную им перепелку, как ястреб выпускал ее из когтей и отпрыгивал в сторону. По-видимому, в нем уже не было собственной жадности, и он ловил так, по привычке или как бы для удовольствия своего хозяина. Можно себе представить, что с такой умной птицей удовольствие травли несказанно увеличивалось. Вероятно, на следующий год ястреб стал бы ловить еще тупее, но любопытно было бы наблюдать его старость и постепенный упадок сил. Несмотря на то, что охотник его был человек самый простой и грубый, он плакал о своем лихом поседлом ловце и всегда говорил: «Нет, мне уж не нажить такого ястреба».

Ловля мелких зверьков

Когда после долгой, то мокрой, то морозной осени, в продолжение которой всякий зверь и зверек вытрется, выкунеет, то есть шкурка его получит свой зимний вид, делается крепковолосяю, гладкою и красивою; когда заяц-беляк, горностаи и ласка побелеют, как кипень, а спина побелевшего и местами пожелтевшего, как воск, русака покроется пестрым ремнем с завитками; когда куница, поречина, хорек, или хорь, потемнеют и заискрятся блестящею осяю; когда, после многих замерзков, выпадет, наконец, настоящий снег и ляжет пороша, – тогда наступает лучшая пора звероловства. О капканной ловле я стану говорить особо. Куниц ловить мне не удавалось, потому что их водилось очень мало в тех местах, где я жил и охотился; но хорьков, горностаев и ласок я лавливал разными поставушками, и об этой-то охоте, также горячо любимой мною в ребячестве и ранней молодости, доставлявшей мне в свою очередь

много радостных минут, хочу я рассказать молодым, преимущественно деревенским охотникам.

Вид земли, покрытой первым снегом, после грязной, гнилой, осенней погоды, надоевшей даже горячим псовым охотникам,

[Известно, что псовые охотники проводят в отъезжих полях целые месяцы. Мокрая и сырая погоды считаются выгодными для этой охоты, но иногда так надоедают охотникам, что они радуются сильным морозам, делающим неудобною псовую охоту с гончими и борзыми собаками.]

веселит сердце каждого. Все делается сухо, бело, чисто и опрятно; бесчисленные зверьковые и звериные следы, всяких форм и размеров, показывают, что и звери обрадовались снегу, что они прыгали, играли большую часть долгой ночи, валялись по снегу, отдыхали на нем в разных положениях и потом, после отдыха, снова начинали сначала необыкновенно сильными скачками свою неутомную беготню, которая, наконец, получала уже особенную цель – доставление пищи проголодавшемуся желудку. С полночи зверек уже не резвится, не жирует около одних и тех же мест, а рыщет там, где скорее может встретить какую-нибудь добычу, для чего пробегает иногда значительное пространство. Внимательное рассматриванье, неутомимое преследование Зверьковых следов раскрывает наблюдательному охотнику все, что зверьки делали ночью; дневной свет объясняет, выводит наружу все тайны ночной темноты. Для меня это имело особенный интерес, и я нередко жертвовал расчетами добычливого охотника, удовлетворяя любопытству наблюдателя. Идя по следу ласки, я видел, как она гонялась за мышью, как лазила в ее узенькую снеговую норку, доставала оттуда свою добычу, съедала ее и снова пускалась в путь; как хорек или горностай, желая перебраться через родниковый ручей или речку, затянутую с краев тоненьким ледочком, осторожными укороченными прыжками, необыкновенно растопыривая свои мягкие лапки, доходил до текучей воды, обламываясь иногда, попадался в воду, вылезал опять на лед, возвращался на берег и долго катался по снегу, вытирая свою мокрую шкурку, после чего несколько времени согревался необычайно широкими прыжками, как будто преследуемый каким-нибудь врагом; как норка, или поречина, бегая по краям реки, мало замерзавшей и среди зимы, вдруг останавливалась, бросалась в воду, ловила в ней рыбу, вытаскивала на берег и тут же съедала... Все это совершенно ясно рассказывали зверьковые следы опытному глазу молодого охотника.

Начинаю с ловли хорька, который гораздо больше, хищнее и неутомимее горностая и ласки. Хорек есть не что иное, как полевая, или каменная, куница. Название каменной придается ему некоторыми натуралистами потому, что он любит жить в каменных, опустелых зданиях и развалинах; впрочем, хорек живет иногда в фундаментах и подвалах жилых каменных строений и даже в подвалах и погребках деревянных домов и крестьянских изб. Всего чаще он только посещает их по ночам для отыскания себе добычи и нередко залезает в курятники и голубятни. Величиною он бывает несколько меньше и тоньше лесной куницы, которая далеко превосходит его достоинством своего пушистого и осистого меха; шерсть на хорьке коротка и жестка; летом она бывает желтовато-бурого цвета, а зимою темная, как на соболе и на кунице. Хорьки живут по полям в норах и в них выводят детей, числом от трех до четырех; вероятно, зимою земляные летние норы заносятся снегом, и тогда хорьки живут в снежных норах или под какими-нибудь строениями: мне случилось один раз найти постоянное, зимнее жилье хорька под толстым стволом сломленного дерева; он пролезал под него сверху, в сквозное дупло. Не один раз находил я также хорька в снежной норе на большом расстоянии от человеческого жилья. Хорек, равно как горностай и ласка, вполне хищный зверек; он ловит всяких птиц, диких и дворовых, во время их сна на ночевках, нападает даже на гусей, как уверяют охотники, в случае же нужды питается также крысами и мышами. Хорек злобен до невероятности и в

крайности не только огрызается, но бросается даже на собаку. Огрызание его сопровождается звуками, похожими на щекотание сороки. Хорек никогда не ходит, не бегает,

[Точно так же горностаи и ласки.]

а прыгает, скачет, становясь обеими лапками вместе, отчего след его издали может показаться лисьим нарыском, когда лиса спокойно идет тихим шагом; обыкновенные прыжки хорька бывают около полуторы четверти, а если он чем-нибудь испуган, то скачки его достигают до двух четвертей и более. Ловят хорьков маленькими капканами и самострелами. Капканы становятся на тех местах, по которым непременно должен пройти хорек, вылезая или влезая в свою нору или пролезая сквозь какое-нибудь отверстие в курятник, подвал, голубятню, куда он повадился ходить за своей добычей. Самострелы становятся непременно над отверстием хорьковой норы, когда он застигнут в ней охотником, потому что хорек может попасть в самострел, только вылезая из норы. Самострел – довольно замысловатое орудие, и трудно получить об нем понятие без рисунка. Это не что иное, как натянутый лук со стрелой, которая, вместо копья, оканчивается довольно широкою лопаточкою; лопаточка ходит в пазах длинной рамки, вделанной прочно в средину лука, и, будучи спущена, плотно и крепко прижимается силою тетивы к краю рамки. Настороженный самострел накладывается на выход из норы, и хорек не может из нее вылезть, не тронув сторожка, утвержденного поперек открытого отверстия рамки; как скоро сторожок соскочит, тетива спускается, и стрела мгновенно прищемляет зверька.

Горностаи и ласки могут быть причислены к одному роду. Вся разница между ними состоит в том, что горностаи вдвое толще и вершка на три длиннее ласки; фигура, все стати, нравы и цвет шерсти у них совершенно одинаковы, кроме того, что у горностая кончик хвоста черный. Оба эти зверька летом имеют шкурку рыжевато-бурую, которая кажется тогда даже пестрою, а зимой – белую как снег; оба хищной породы и питаются мясом; оба имеют, с первого взгляда, очень грациозную наружность; но, всмотревшись хорошенько в очертание их рта, вооруженного частыми и острыми зубами, особенно в их маленькие, бесцветные глазки, почувствуешь, что они принадлежат к злобной и кровожадной породе зверей. Особенно ласка, будучи слишком длинна и тонка и потому изгибая свою спину дугою, когда останавливается, напоминает как-то изгибающуюся змею. Вероятно, горностаи так же хищны и злобы, как хорек и ласка, что и подтверждается охотниками-звероловами, но мне не удавалось видеть своими глазами доказательств его хищности; кровожадности же хорька и особенно ласки я много видел удивительных опытов.

[Я рассказал в «Записках ружейного охотника» о невероятной жадности и смелости ласки, подымающейся с тетеревом на воздух и умерщвляющей зайца в снежной норе.]

Хорек, забравшись в курятник, или утиный хлев, или в голубятню, никогда не удовольствуется одною жертвою, а всегда задушит несколько кур, уток или голубей. Он обыкновенно прокусывает шею у своей добычи, напивается крови, оставляет ее, кидается на другую и таким образом умерщвляет иногда до десятка птиц; мясо их остается нетронутым, но у многих бывают головы совсем отъедены и даже две-три из них куда-то унесены; иногда же я находил кур, у которых череп и мозг были съедены. Если хорек заедает по одной или не более двух птиц, что случается довольно редко, то уже непременно уносит их головы. Довольно трудно объяснить, отчего происходит у хорька такая разница в числе жертв и в способе употребления в пищу своей добычи. Я слышал от охотников, что одни молодые хорьки отгрызают головы у птиц и выедают мозг, а старые пьют только кровь и что, будучи умнее молодых, они умерщвляют только по одной или по две штуки, для того чтобы долее пользоваться добычей. Но такому мнению противоречат самые эти признаки: то есть, если старый хорек пьет только кровь заеденных им птиц и умерщвляет не более одной или двух, не касаясь их мяса, то отчего же я

всегда находил, что если умерщвлена одна или две птицы, то головы их непременно отгрызены или унесены? Итак, надобно искать другого объяснения.

Горностаев и ласок редко ловят самострелами, потому что редко попадают их норы. Для ловли этих маленьких зверьков употребляют *плашки* и *стульчики*. Плашка действительно есть не что иное, как плаха, то есть половина бревна, в отрубе вершков четырех или пяти, расколото по середине. Отрубок такой плахи, в аршин или несколько более длиною, гладко вытесанный с плоской стороны, накладывается на такую же плаху и пригоняется к ней плотно; потом верхняя плаха поднимается на четверть или на полторы и, по известному всем способу, настораживается сторожком, к которому привязана прикормка, или приманка: опаленная мышь, какая-нибудь птичка или кусок ветчинного сала с кожей, также опаленного на огне, для того чтобы запах прикормки был слышнее. Задний конец плахи имеет продолбленную продолговатую дыру, сквозь которую проходит колышек, крепко утвержденный в нижней плахе; это сделано с целию, чтобы задний конец верхней плахи не мог соскочить; разумеется, верхняя плаха поднимается и опускается на нем свободно. Зверек, почуяв лакомую пищу, подходит и хватает ее зубами, сторожок соскакивает, верхняя плаха падает и придавливает его.

Стульчиком называются две палочки, всегда из сырого тальника, каждая с лишком аршин длиною, которые кладутся крест-накрест и связываются крепкою бечевкою; потом концы их сгибаются вниз и также связываются веревочками, так что все четыре ножки отстоят на четверть аршина одна от другой, отчего весь инструмент получает фигуру четвероножника, связанного вверху плотно; во внутренние бока этих ножек набиваются волосяные силья, расстоянием один от другого на полвершка; в самом вершуге стульчика, в крестообразном его сгибе, должна висеть такая же приманка, какую привязывают к сторожку плахи; приманка бывает со всех сторон окружена множеством настороженных сильев; зверек, стараясь достать добычу, полезет по которой-нибудь ножке и непременно попадет головой в силок; желая освободиться, он спрыгнет вниз и повиснет, удавится и запутается в сильях даже всеми ногами. Впрочем, случается иногда, что он сначала попадает лапкой, и в таком случае он отгрызет силок. Плашка и стульчик становятся на таких местах, где много замечено горностаевых и ласкиных следов и где они отыскивают себе добычу. Ласку, известную истребительницу мышей в гумнах с хлебом и в хлебных амбарах, никогда не должно около них ловить. Ласка, по своему тонкому и длинному стану, имеет возможность пролезать в мышинные норки, в самые узенькие щели и даже в хлебные клады и копны, а потому мышам нет от нее спасенья.

Расставя с вечера несколько таких поставушек, на рассвете надобно их обойти и все собрать, а в сумерки, оправив все как следует и положив свежей приманки, расставить вновь по другим местам, какие охотник сочтет более удобными. Эта охота может продолжаться всю зиму, разумеется на лыжах и кроме тех ночей, когда идет сильный снег, или *крутит буран*, выражаясь по-оренбургски. В буранную погоду так занесет поставушки, что их на другой день и не отыщешь. Мне нередко случалось терять мои звероловные снаряды, потому что часто с вечера бывает тихо и поставушки поставишь, а к утру подымется такая метель, что и самому нельзя носа показать. Впрочем, простое устройство этих снастей дает возможность в один день заменить потерянные новыми.

Кажется, что можно найти привлекательного в этой охоте? Но именно в том состоит тайна всех охот, что их нельзя объяснить и определить. То, что покажется не охотнику смешно, скучно и нелепо – горячит, тревожит и радостно волнует сердце охотника. Я сам с удивлением и вместе с удовольствием вспоминаю, как горячо некогда охотился за маленькими зверьками. Расставив десятка полтора разных поставушек по таким местам, где добыча казалась вероятною, воротясь поздно домой, усталый, измученный от ходьбы на лыжах, – не вдруг заснешь, бывало, воображая, что, может быть, в эту минуту хорек, горностаев или ласка попала в какую-нибудь поставушку, попала как-нибудь неловко и потому успеет вырваться в продолжение зимней, долгой ночи. Рано проснешься поутру, оденешься задолго до света и с тревожным нетерпе-

нием дожидаясь зари; наконец, пойдешь и к каждой поставушке подходишь с сильным биением сердца, издали стараясь рассмотреть, не спущен ли самострел, не уронена ли плашка, не запуталось ли что-нибудь в силках, и когда в самом деле попалась добыча, то с какой, бывало, радостью и торжеством возвращаешься домой, снимаешь шкурку, распяливаешь и сушишь ее у печки и потом повесишь на стену у своей кровати, около которой в продолжение зимы набиралось и красовалось иногда десятка три разных шкурок.

Я ничего не сказал о ловле норок, потому что мне не удавалось самому ловить их; но я видел, как добывали их другие охотники: они ставили по берегам рек, на которых много было норкиных следов, маленькие капканы, для чего разрывали небольшую ямку в снегу, а если снег мелок, то в песке или земле берега; в первом случае капкан засыпался слегка снегом, а в последнем – сухими листочками. Недавно уверяли меня, что норка питается не одною рыбою, а кушает и мясо. Норку застали очень рано поутру у кухни и гнали за нею до реки, в которую она будто бы бросилась и нырнула. Из этого вывели заключение, что норка приходила к кухне, стоящей на довольно большой горе, не для ловли рыбы. Я несколько усумнился и говорил об этом с самым опытным звероловом, который тридцать лет ловит норок капканами и знает наизусть образ их жизни. Он уверяет, что видели хорька вместо норки, который, вероятно, бросился не в реку, а под берег, где у него была нора; норка же, по его уверению, никогда к человеческому жилью не подходит.

Мелкие охотничьи рассказы

Несколько слов о суевериях и приметах охотников

Известное дело, что охотники-простолюдины – все без исключения суеверны, суеверны гораздо более, чем весь остальной народ, и, мне кажется, нетрудно найти тому объяснение и причину: постоянное, по большей части уединенное, присутствие при всех явлениях, совершающихся в природе, таинственных, часто необъяснимых и для людей образованных и даже ученых, непременно должно располагать душу охотника к вере в чудесное и сверхъестественное. Человек не любит оставаться в неизвестности: видя или слыша что-нибудь необъяснимое для него очевидностью, он создает себе фантастические объяснения и передает другим с некоторою уверенностью; те, принимая их с теплою верою, добавляют собственными наблюдениями и заключениями – и вот создается множество фантазий, иногда очень остроумных, грациозных и поэтических, иногда нелепых и уродливых, но всегда оригинальных. Я уверен, что охотники первые начали созидание фантастического мира, существующего у всех народов. Первый слух о лешем пустил в народ, вероятно, лесной охотник; водяных девок, или чертовок,

[В Оренбургской, а равно Казанской и Симбирской губерниях народ не знает слова *русалка*.]

заметил рыбак; волков-оборотней открыл зверолов. Я уже говорил в моих «Записках ружейного охотника», что в больших лесах, пересекаемых глубокими оврагами, в тишине вечерних сумерек и утреннего рассвета, в безмолвии глубокой ночи крик зверя и птицы и даже голос человека изменяются и звучат другими, какими-то странными, неслышанными звуками; что ночью слышен не только тихий ход лисы или прыжки зайца, но даже шелест самых маленьких зверьков. Весьма естественно, что какой-нибудь охотник, застигнутый ночью в лесу, охваченный чувством непреодолимого страха, который невольно внушает темнота и тишина ночи, услышав дикие звуки, искаженно повторяемые эхом лесных оврагов, принял их за голос сверхъестественного существа, а шелест приближающихся прыжков зайца – за приближение этого существа. Крик филина и маленьких сов особенной породы, которых он слышал, может быть, и прежде, но который не походил на слышимые им теперь звуки в лесу, не мог ли показаться ему

и хохотом, и стоном, и воем, и чем угодно? Если же он, дрожа и потая от страха, но подавляемый усталостью, как-нибудь засыпал или хотя задремывал, то, без сомнения, грезил во сне тем же, чем был полон и волнуем наяву; дремота даже могла придать более определенности образу неизвестного существа. С первыми лучами солнца, отыскав дорогу и возвращаясь домой, он чувствовал себя как будто изломанным, исщипанным и, увидя свое тело, покрытое пятнами, он легко мог приписать их щипанью или щекотанью того же сверхъестественного существа. Бедняка искушали крупные лесные муравьи или другие насекомые, но такое простое объяснение не приходит ему в голову. А как событие происходило в лесу, то и дает он имя лешего его таинственному обитателю. Дома рассказывает он свою чудную повесть, показывает красные и синие пятна на своем теле; воображение рассказчика и слушателей воспламеняется, дополняет картину – и леший, или лесовик, получает свое фантастическое существование! Постепенно укрепляясь в народном ведении и веровании, принимает он определенный образ и черты, иногда очень подробные и разнообразные.

Вода, преимущественно большая, в поздние сумерки и ранний рассвет, особенно в ночное время, производит на человека такое же действие невольного страха, как и дремучий лес. Внезапное движение и плеск воды, тогда как производящей его рыбы или зверя, за темнотою, хорошенько разглядеть нельзя, могло напугать какого-нибудь рыбака, сидящего с удочкой на берегу или с сетью на лодке. Шум и движение в камыше или осоке, производимые уткой с утятами, даже прыгающими лягушками, могли показаться уstraшенному воображению чем-то похожим на движение существа несравненно большего объема. Выпрыгнувшая из воды на берег или спрыгнувшая с берега в воду поречина, мелькнувшая неясным, темным призраком, могла отразиться в его воображении чем-то похожим на образ человеческий. *У страха глаза велики*, говорит пословица, и почему же круглому, тупому рылу сома, высунувшемуся на поверхность воды и быстро опять погрузившемуся, не показаться за человеческую голову, которая всплывала на одно мгновение? Почему остроконечный нос и голова шуки или жериха не могли показаться локтем руки или каким-нибудь человеческим членом? Точно так же, как рассказывал лесной охотник о своих ночных страхах и видениях в лесу, рассказывает и рыбак в своей семье о том, что видел на воде; он встречает такую же веру в свои рассказы, и такое же воспламененное воображение создает таинственных обитателей вод, называет их русалками, водяными девками, или чертовками, дополняет и украшает их образы и отводит им законное место в мире народной фантазии; но как жители вод, то есть рыбы – немые, то и водяные красавицы не имеют голоса.

[Так утверждает по крайней мере народ в Оренбургской губернии.]

Нельзя ли таким образом объяснить происхождение и других народных суеверий? Впрочем, исследование этого интересного предмета до меня не касается. Я упомянул о нем только для того, чтобы объяснить, отчего охотники суевернее других людей.

Вероятно, на основании таких суеверных понятий развилось множество примет и вера в колдовство, которыми заражены более или менее все охотники-простолюдины. В Оренбургской губернии, которая известна мне более других, я заметил странное явление: колдунов там довольно, особенно между мордвами и чувашами, но суеверных примет очень мало; разумеется, это отразилось и на охотниках.

[Нельзя ли объяснить отсутствие многих суеверных примет в Оренбургской губернии сводностью, разнохарактерностью русского народонаселения, утонувшего, так сказать, в населении туземном, состоящем из башкир, татар, мордвы, чуваш и прочих? От взаимного столкновения переселенцев из разных губерний как между собою, так и между туземными инородцами не могли ли потеряться завозные суеверия и приметы?]

Вера их в колдовство относительно охоты состоит в том, что колдуну приписывается умение заговаривать ружья и всякие звероловные и рыболовные снасти. Заговоренное ружье или будет осекаться, как бы ни были хороши кремль и огниво, или будет бить так слабо, что птица станет улетать, а зверь – уходить, несмотря на полученные раны, или ружье станет бить просто мимо от разлетающейся во все стороны дробь. В заговоренные снасти зверь не пойдет, а если пойдет и попадет, то они его не удержат. Само собою разумеется, что колдун может произвести и противное тому действие, то есть пули и дробь станут непременно попадать в цель и наносить смертельные раны; рыба, зверь и птица повлекутся неведомою силою в сети и снасти и, попавшись, никак не освободятся. Ружейные охотники и звероловы, ходящие за красным зверем, всегда обращаются к колдуну, если он есть где-нибудь в соседстве и пользуется славой; они дают ему заговаривать, или наговаривать, на пули, картечь и жеребья, а также и на свои снасти, преимущественно на капканы. Колдуны средней руки, признавая себя не довольно знающими, чтобы производить вышесказанные действия, берутся заговаривать ружья и снасти только для предохранения их от заговора другого колдуна, более их искусного, и охотники считают это необходимым.

Уверенность в недобром глазе, какой бывает у некоторых людей, преимущественно старух и стариков, в способности их «сглазить», или «озепать», очень укоренена в охотниках. Они верят этой силе безусловно и не только сами боятся встречи с такими людьми, особенно при выходе на охоту, но берегут от них собак и ястребов, даже прячут ружья и всякие звероловные и рыболовные снасти.

Независимо от веры в колдовство охотники имеют много примет, которые бывают общими, а иногда исключительными, принадлежащими лично одному какому-нибудь охотнику. Общими дурными приметами считаются:

1) Встреча с людьми недоброжелательными, по большей части имеющими будто бы *дурной глаз*, с людьми насмешливыми (озорниками), вообще с женщинами и в особенности с старухами. Выходя на какую бы то ни было охоту, охотник внимательно смотрит вперед и, завидя недобрую встречу, сворачивает с дороги и сделает обход стороною или переждет, спрятавшись где-нибудь на дворе, так, чтобы идущая старая баба, или недобрый, или ненадежный человек его не увидел. Если какая бы то ни была женщина, не примеченная охотником, неожиданно перейдет ему поперек дорогу, охотник теряет надежду на успешную охоту, нередко возвращается домой и через несколько времени отправляется уже совсем в другую сторону, по другой дороге. Женщины знают эту охотничью примету, и потому благонамеренные из них, завидя идущего охотника, ни за что не перейдут ему дорогу, а дождутся, пока он пройдет или проедет. Замечательно, что эта примета до девиц не касается.

2) Встреча с пустыми телегами или дровнями не предвещает также успешной охоты, тогда как, напротив, полный воз хлеба, сена, соломы или чего бы то ни было считается добрым предзнаменованием.

3) Крик ворона, филина и совы, если охотник услышит его, идя на охоту, не предвещает успеха.

4) Если кто-нибудь скажет охотнику, идущему стрелять: «Принеси крылышко», зверолову – «Принеси шерстки или хвостик», а рыбаку – «Принеси рыбьей чешуйки», то охотник считает, что охота его в этот день не будет удачна. Вышеприведенными мною словами часто дразнят охотников нарочно, так, ради шутки, за что они очень сердятся и за что нередко больно достается шутникам.

Для противодействия дурным встречам и предзнаменованиям считается довольно верным средством: охотнику искупаться, собаку выкупать, а ястреба вспрыснуть водою.

5) Есть еще примета у некоторых рыбаков с удочкою, что в ведро, куда предполагается сажать свою добычу, не должно наливать воды до тех пор, покуда не выудится первая рыба. Впрочем, эта примета далеко не общая.

6) Дробины или картечи, вынутые из тела убитой птицы или зверя, имеют в глазах охотников большую важность; они кладут такие дробины или картечи, по одной, в новые заряды и считают, что такой заряд не может пролететь мимо.

7) Почти все охотники имеют примету, что если первый выстрел будет промах, если первая рыба сорвется с удочки или ястреб не поймает первой птицы, то вся охота будет неуспешна. Это обстоятельство случается нередко с охотниками запальчивыми, особенно ружейными, не имеющими даже никаких примет, и случается по причине самой естественной: охотник разгорячится, а горячность поведет за собой нетерпение, торопливость, неверность руки и глаза, несоблюдение меры и – неудачу. Все это обыкновенно приписывается первому промаху. Но вот странность: я знал одного славного ружейного охотника, уже немолодого, у которого была примета, что если первый выстрел будет пудель, то охота будет заданна и добычлива. Я много раз бывал с ним на охоте и должен сказать, что опыт, к моему удивлению, всегда подтверждал его странную примету. Этот охотник добродушно уверял меня, что несколько раз пробовал нарочно промахнуться первым выстрелом, но что в таком случае примета оказывалась недействительною. Эта примета уже личная и служит только новым доказательством, как сильно влияние мысли на телесные наши действия.

Приметы личные, или частные, неисчислимы и не заслуживают особенного внимания, и потому я о них распространяться не стану; расскажу только один забавный пример. Я знал старика-охотника, весьма искусного стрелка, известного мастера отыскивать птицу тогда, когда другие ее не находят: он ни за что в свете не заряжал ружья, не увидев наперед птицы или зверя, отчего первая добыча весьма часто улетала или уходила без выстрела. Этот охотник был уверен, что если зарядит ружье дома или идучи на охоту, то удачи не будет; он ссылался на множество случившихся с ним опытов, но мне не удалось поверить его слов на деле.

Ни на что так часто не жалуются ружейные охотники, как на легкоранность своих ружей, которая будто по временам, без всякой причины, появлялась в их ружьях, бывших прежде крепко и сердито. По большей части это приписывается вредному действию знахарей, которые портят ружья заговорами и естественными средствами. Заговор может быть пущен даже по ветру, следовательно от него нет защиты и лекарства надобно искать у другого колдуна; но если ружье испорчено тем, что внутренность его была вымазана каким-нибудь секретным составом (в существовании таких секретов никто не сомневается), от которого ружье стало бить слабо, то к исправлению этой беды считается верным средством змеиную кровь, которою вымазывают внутренность ружейного ствола и дают крови засохнуть. Некоторые охотники кладут змею в ствол заряженного ружья, притискивают шомполом и выстреливают, после чего оставляют ружье на несколько часов на солнце или на горячей печке, чтобы кровь обсохла и хорошенько въелась в железо. Вообще змеиную кровь считается благонадежным средством, чтобы ружье било крепко. Впрочем, это можно отнести скорее к суеверию, чем к приметам.

В заключение я должен признаться, что внезапная легкоранность ружей не один раз смущала меня в продолжение многолетней моей охоты; это же необъяснимое обстоятельство случалось и с другими знакомыми мне охотниками. Я упомянул в моих «Записках ружейного охотника» о том, что ружья начинают очень плохо бить тетеревов, когда наступают, в конце осени или в начале зимы, сильные морозы; но там причины очевидны, хотя сначала могут быть не поняты. Здесь совсем другое дело: иногда вдруг посреди лета ружье перестает бить или бьет так слабо, что каждая птица улетает. Я приходил от того в недоумение, в большую досаду; искал причин и не находил; но я никогда не приписывал этого колдовству, следовательно не прибегал и к помощи колдунов, даже не пробовал змеиной крови. Поневоле я вешал испортившееся ружье на стену и брал другое. Через несколько времени привычка к любимому ружью заставляла меня попробовать, не возвратился ли к нему прежний бой? И действительно, прежний бой возвращался. Сначала я счел это просто чудом, но потом привык и постоянно лечил появлявшуюся легкоранность в моих ружьях – вешаньем их на стену для отдохновения.

Что это такое было? От каких неведомых причин происходило это явление – не знаю, но в действительности его ручаюсь.

Счастливым случаем

Часто случается в охоте, что именно того не находишь, чего ищешь, и наоборот: получаешь драгоценную добычу там, где об ней и не помышляешь. Много раз ездил я с другими охотниками на охоту за волками с живым поросенком, много раз караулил волков на привадах, много раз подстерегал тех же волков из-под гончих, стоя на самом лучшем лазу из острова, в котором находилась целая волчья выводка, – и ни одного волка в глаза не видал. Но вот что случилось со мной в молодости. Это было в 1811 году, 21 сентября. Поехал я рано утром стрелять тетеревов и вальдшнепов. День был пасмурный, и по временам моросил мелкий дождь. Я убил трех вальдшнепов и пять тетеревов, которые еще не составились, мало садились и недолго сидели на деревьях, да к тому же и ветер сгонял их. Проездив часов до одиннадцати и возвращаясь домой, я хотел выстрелить во что-нибудь, чтоб разрядить ружье, заряженное средней утиной дробью, то есть 4-м номером. Несколько раз подъезжал я к беркуту (степной орел), необыкновенно смирному, который перелетал с сурчины на сурчину; два раза подъезжал я в меру, но ружье осекалось (оно было с кремнем); наконец, у самой деревенской околицы вздумал я завернуть на одно маленькое родниковое озерцо, в котором мочили конопли и на котором всегда держались утки. Только что я своротил с дороги и стал спускаться к уреме, как вдруг кучер мой, как-то оглянувшись назад, закричал: «Волки, волки!» – и осадил лошадей. Я обернулся: два волка неслись прямо на нас за двумя молодыми собаками, которые были со мною на охоте. Я сидел верхом на дрожках, но проворно перекинулся назад, лицом к запяткам, снял ружье, висевшее у меня за спиной, и развязал платок, которым был обернут замок, потому что шел мелкий дождичек. В самую эту минуту передний волк, гнавшийся по пятам за собакой, наскочив на самые дрожки, отпрыгнул и шагах в двадцати остановился, почти боком ко мне. Я мгновенно прицелился и выстрелил: волк взвизгнул, подпрыгнул от земли на аршин и побежал прочь, другой пустился за ним; собаки спрятались под дрожки; лошади почуяли волков и подхватили было нас, но кучер скоро их удержал. Волки исчезли в небольшом, но крутоберегом вражке, называемом и теперь Антошкин враг. Остановив лошадей, я зарядил поскорее своего испанца (так называлось мое любимое ружье) картечью, заряд которой как-то нашелся у меня в патронташе, и поскакал вслед за волками. Шагах в пятидесяти, в глубине вражка, один волк лежал, по-видимому, мертвый, а другой сидел подле него; увидев нас, он побежал прочь и, отбежав сажень сто, сел на высокую сурчину. Я, удостоверившись, что стрелянный волк точно издох, лег подле него во вражке, а кучеру велел уехать из виду вон, в противоположную сторону; я надеялся, что другой волк подойдет к убитому, но напрасно: он выл, как собака, перебежал с места на место, но ко мне не приближался. Я вышел из моей засады, кликнул кучера и попробовал подъехать к волку; но он, не убегая прочь, держался в дальнем расстоянии. Делать было нечего, я остановился, положил ружье на одно из задних колес и выстрелил: мера была шагов на полтора. Вероятно, картечь слегка задела волка, потому что он сделал прыжок и скрылся. Я воротился к убитому волку. Все это время я был в каком-то забытии, тут только опомнился и пришел в такой восторг, какого описать не умею и к какому может быть способен только двадцатилетний горячий охотник. Убить волка, поехав стрелять вальдшнепов и тетеревов, возвращаясь домой, у самой околицы, без всяких трудов, утиной дробью, из ружья, которое перед тем осеклось два раза сряду... только охотники могут понять все эти обстоятельства и оценить мою тогдашнюю радость! И какой волк! Самый матерой, даже старый! Трудно было взвалить убитого зверя на дрожки, потому что лошади не стояли на месте, храпели и шарахались, слыша волчий дух; но, наконец, кое-как я перевалил волка поперек дрожек и привез в торжестве домой мою добычу. Полдеревни и вся дворня сбежались на такое зрелище, потому

что мы с кучером кричали как сумасшедшие и звали всех смотреть застреленного волка. Рассказав не менее ста раз, всем и каждому, счастливое событие со всеми его подробностями, я своими руками стащил волка к старому скорняку и заставил при себе снять с него шкуру. Я положил волку двадцать четыре дробины под левую лопатку. Волк был необыкновенно велик и сыт; в одной его ноге нашли два железных жеребья, давно заросшие в теле. Очевидно, что он был стрелян. Желудок его оказался туго набит свежим свиным мясом вместе со щетиной. По справке открылось, что в это самое утро эти самые волки зарезали молодую свинью, отбившуюся от стада. И теперь не могу я понять, как сытые волки в такое раннее время осени, середи дня, у самой деревни могли с такой наглостью броситься за собаками и набежать так близко на людей. Все охотники утверждали, что это были *озорники*, которые *озоруют* с жиру. В летописях охоты, конечно, можно назвать этот случай одним из самых счастливейших.

Странные случаи на охоте

Некоторые из случайностей ружейной охоты, рассказанные мною в моих охотничьих записках, как-то: улетевший селезень-широконоска, лежавший мертвым несколько часов в ящике охотничьих дрожек, тетерева, улетающие с разбитыми задами и висящими из них кишками, и пр. и пр. – могли показаться, особенно не охотникам, неправдоподобными, потому что охотники имеют репутацию людей, любящих *красное слово*. Но, не убоясь такой репутации, я расскажу, преимущественно для охотников, еще несколько случаев, которые покажутся также невероятными, хотя они буквально справедливы.

Выстрелил я однажды в крякового селезня, сидевшего в кочках и траве, так что видна была одна голова, и убил его наповал. Со мною не было собаки, и я сам побежал, чтобы взять свою добычу; но, подходя к убитой птице, которую не вдруг нашел, увидел прыгающего бекаса с переломленным окровавленным крылом. Должно предположить, что он тайлся в траве около крякового селезня и что какая-нибудь боковая дробинка попала ему в косточку крыла.

Точно так же выстрелив с поперека в летящего бекаса, шагах в сорока от меня, я дал промах; бекас крикнул, надал и понесся еще быстрее; но в то же время я увидел, что шагах в двадцати далее летевшего бекаса, по направлению выстрела, подпрыгивает дупелыпнеп с переломленным крылом; собака бросилась и принесла мне его живого. Этот случай гораздо удивительнее первого: дупелыпнеп должен был подвернуться под дробинку в той самой точке, где дробинка, пролетев гораздо далее, коснулась земли.

Вот еще случай, весьма замечательный и в то же время служащий убедительным доказательством, что смертельно раненные птицы очень далеко улетают сгорая и гибнут потом даром и что необходимо пристально наблюдать, если позволяет местность, каждую птицу, в которую выстрелил охотник. В последнее время моей охоты я строго наблюдал это правило и нередко получал иногда добычу, которая ускользнула бы у другого охотника.

Дикие гуси редко посещали наш пруд. Но в одно жаркое лето, в июле, мельник прибежал мне сказать, что пятеро гусей (без сомнения, холостых) опустились на пруд и плавают между камышами в почтительном расстоянии от берегов. Я сел в лодку, и тот же мельник, пробираясь между зелеными высокими камышами, подвез меня к гусям в меру. Я ударил в них крупной дробью: одного убил наповал, а четверо остальных улетели вверх по реке Бугуруслан. Я вышел из лодки и вместе с другим охотником стал стрелять мелкую дичь по болотистым верховьям пруда. Не менее как через час мой товарищ увидел, что гуси летят назад, но только втроем. Я сейчас подумал, что, верно, четвертый гусь был ранен и где-нибудь упал; вместе с охотником я отправился, вверх по реке, его отыскивать. Отошед версты две, мы узнали от пастухов, что четверо гусей опускались на паровое поле, находившееся в полуверсте от реки, на покатоности ближней горы, долго сидели там и, наконец, улетели. Разумеется, мы пошли на паровое поле и скоро увидели, уже окруженного воронами и сороками, мертвого гуся. Без сомнения, когда

гуси летели вверх по реке, раненый гусь стал ослабевать и пошел книзу, в сторону от реки, товарищи последовали за ним по инстинкту, и когда он опустился на землю или упал, то и они опустились, посидели около него и, видя, что он не встает, полетели опять, уже вниз по реке.

Подобные случаи повторялись со мною не один раз: я имел возможность иногда наблюдать своими глазами и во всех подробностях такие, для охотника любопытные, явления, то есть: как по видимому неподстреленная птица вдруг начнет слабеть, отделяться от других и прятаться по инстинкту в крепкие места; не успев еще этого сделать, иногда на воздухе, иногда на земле, вдруг начнет биться и немедленно умирает, а иногда долго томится, лежа неподвижно в какой-нибудь ямочке. Вероятно, иная раненая птица выздоравливает.

Я уже говорил в своих «Записках об ужении рыбы» о необыкновенной жадности щук и рассказал несколько истинных происшествий, подтверждающих мое мнение. Вот еще два случая в том же роде. Первый из них так невероятен и похож на выдумку, что нельзя не улыбнуться, слушая его описание. Я даже не решился бы рассказать его печатно, если бы не имел свидетеля, И. С. Тургенева, вовсе не охотника до рыбной ловли, который на ту пору был у меня в деревне. В исходе мая 1854 года были поставлены на ночь обыкновенные удочки с крепкими лесами и крючками, насаженными рыбкою или земляными червями: ибо днем окуни брали мало, а по ночам попадались довольно крупные. На одну из таких удочек с червяком взял небольшой окунь и проглотил крючок в кутерь; на окуня взяла и заглотала также небольшая щучка, или щуренок, а его схватила поперек большая щука, с лишком в пять фунтов, и так увязила зубы в своей добыче, что рыбак без всякой осторожности вытащил ее из воды, никак не подозревая, чтобы крючок не вонзился в ее жабры; но когда он разглядел эту диковинную штуку, то поспешил принести щуку к нам. Она, висая на воздухе, не разжала зубов своих дорогой (расстояние было с полверсты), и мы с Тургеневым сами отворили ей рот и потом произвели следствие над окунем и щуренком, который, взяв на окуня, как на насадку, сам сделался в свою очередь насадкою. Поводок был обыкновенный, то есть шелковый, и щуренок легко бы его перегрыз, но должно предположить, что окунь, который был для него несколько велик, так распер ему пасть или горло, что он не мог сжать рта и что именно в этом положении схватила его поперек большая щука, от чего рот щуренка разинулся еще больше. Когда нам принесли эту тройную добычу – щуренок оказался давно уснувшим и даже остамевшим; большая щука была совершенно здорова и даже не оцараплена.

После этого события уже почти не стоит рассказывать, что в том же году щука схватила пескаря, посаженного вместе с другими рыбками в кружок,

[Мешок из сетки особенного устройства, о котором я говорил в моих «Записках об ужении рыбы».]

шагах в десяти от меня, крепко вцепилась зубами в сетку и подняла такой плеск, что, услышав его, мальчик, бывший со мною на ужение, подошел к кружку и, увидев эту проделку, вытащил кружок и щуку на берег. Мы также принуждены были разжать ей палкой рот, чтобы она выпустила сетку; в щуке весило около трех фунтов, и сетка оказалась перегрызенною.

Перегрызенная щукою сетка кружка объяснила мне происшествие, которое случилось со мной года два тому назад (тогда неясно понятое мною) и которое кстати рассказать теперь рыбакам-охотникам для предупреждения их от подобных невзгод. Не помню хорошенько месяца, но, вероятно, в начале августа, потому что погода стояла еще жаркая, поехал я удить в верховье Репеховского пруда на речке Воре. Неизменный мой товарищ-рыбак встал ранее меня и был давно уже на месте. Когда я приехал, он показал мне пять славных окуней и только что выуженного им щуренка, которые ходили в кружке. Через полчаса кружок понадобился, чтобы посадить в него выуженного мной окуня; но каково было наше удивление и досада, когда, вытащив кружок, мы увидели, что в нем остался только один снулый окунь, как нарочно небольшой, а четырех больших и щуренка в кружке не оказалось. Рассмотрев его хорошенько,

мы нашли дыру, в которую ушла вся живая рыба. Кружок был новый, и мы не знали, как объяснить это происшествие: думали, что попались гнилые нитки или что щуренок перегрыз сетку. Клев был, против обыкновения, очень удачен, окуни брали крупные, и мы вознаградили свою потерю. Тем не менее товарищу моему очень было жаль своих крупных окуней. Теперь же, после нападения щуки на кружок, сейчас описанного мною, понятно, что не щуренок перегрыз сетку, а, вероятно, большая щука схватила снаружи которого-нибудь из окуней, прорвала несколько петель и, не задев за них зубами, ушла, испугавшись шумного и сильного плеска остальной рыбы (который мы слышали, но кружка не посмотрели), и что несколько окуней и щуренок воспользовались прорехой и отправились опять гулять в Борю. Нравоучение этого рассказа состоит в том, что щук лучше не сажать в кружок, хотя прежде я делывал это часто без всяких дурных последствий, и что кружок, опущенный в воду с пойманною рыбою, надобно внимательно осматривать при каждом сильном плеске рыбы.

Необыкновенный случай

Вдобавок к рассказам о странных происшествиях на охоте я расскажу случай, который самому мне показался сначала каким-то сном или волшебством. Будучи еще очень молодым охотником, ехал я в исходе июля, со всем моим семейством, на серные Сергиевские воды; в тридцати пяти верстах от нашего имения находилось и теперь находится богатое село Кротово, всеми называемое Кротовка. Проехав село, мы остановились у самой околицы ночевать на прекрасной родниковой речке, текущей в высоких берегах. Солнце садилось; я пошел с ружьем вверх по речке. Не прошел я и ста шагов, как вдруг пара витютинов, прилетев откуда-то с поля, села на противоположном берегу, на высокой ольхе, которая росла внизу у речки и вершина которой как раз приходилась на одной высоте с моей головой; близко подойти не позволяла местность, и я, шагах в пятидесяти, выстрелил мелким бекасинником. Для такой дроби расстояние было далеко; оба витютина улетели, а с дерева упала крестьянская девочка... Всякий может себе представить мое положение: в первое мгновение я потерял сознание и находился в переходном состоянии человека между сном и действительностью, когда путаются предметы обоих миров. По счастью, через несколько секунд девочка, с большим бураком

[Бураком называется круглая кадушечка из бересты, с дном и крышкой.

В низовых губерниях отлично делают бураки, от самых крошечных до огромных, и употребляют их преимущественно для собирания ягод.]

в руках, вскочила на ноги и ударилась бежать вниз по речке к деревне... Не стану распространяться в описании моего испуга и изумления. Бледный, как полотно, воротился я к месту нашего ночлега, рассказал происшествие, и мы послали в Кротовку разведать об этом чудном событии; через полчаса привели к нам девочку с ее матерью. По милости божией, она была совершенно здорова; штук тридцать бекасиных дробинок исцарапали ей руку, плечо и лицо, но, по счастью, ни одна не попала в глаза и даже не вошла под кожу. Дело объяснилось следующим образом: двенадцатилетняя крестьянская девочка ушла тихонько с фабрики ранее срока и побежала с бураком за черемухой, которая росла по речке; она взлезла за ягодами на дерево и, увидев *барина с ружьем*, испугалась, села на толстый сучок и так плотно прижалась к стволу высокой черемухи, что даже витютины ее не заметили и сели на ольху, которая росла почти рядом с черемухой, несколько впереди. Широко раскинувшийся заряд одним краем своего круга задел девочку. Конечно, велик был ее испуг, но и мой не меньше. Разумеется, мать с дочерью ушли от нас, очень довольные этим происшествием.

Иван Сергеевич Тургенев

Записки охотника

Хорь и Калиныч

Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханых полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих раки, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадь⁶² исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть «Пинну»; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо однако говорил одначе и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

– До меня верст пять будет, – прибавил он, – пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

– А кто такой Хорь?

– А мой мужик... Он отсюда близехонько.

⁶² «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своеобычных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

– А, Федя! Дома Хорь? – спросил его г-н Полутыкин.

– Нет, Хорь в город уехал, – отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. – Тележку заложить прикажете?

– Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Все дети Хоря!» – заметил Полутыкин. «Все Хорьки, – подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, – да еще не все: Потаи в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася, – продолжал он, обращаясь к кучеру, – духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское череве обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» – торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбающуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, – сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, – хотите зайти?» – «Извольте». – «Она теперь упразднена, – заметил он, слезая, – а все посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, – проговорил г-н Полутыкин, – а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, – сказал мне Полутыкин, – это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, – заметил мой новый приятель. – В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

– Скажите, пожалуйста, – спросил я Полутыкина за ужином, – отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

– А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. – «Да зачем тебе селиться на болоте?» – «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». – «Пятьдесят рублей в год!» – «Извольте». – «Да без недоимок у меня, смотри!» – «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

– Ну, и разбогател? – спросил я.

– Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!...» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул:

«Калиныч!» – «Сейчас, батюшка, сейчас, – раздался голос со двора, – лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев.

Легкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полуоткрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч – добрый мужик, – сказал мне г. Полутыкин, – усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, иначе, содержать не может: я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство, – посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик – лысый, низкого роста, плечистый и плотный – сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной все как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

– Послушай-ка, Хорь, – говорил я ему, – отчего ты не откупишься от своего барина?

– А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

– Все же лучше на свободе, – заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

– Вестимо, – проговорил он.

– Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

– Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

– Ну, полно, старина...

– Попал Хорь в вольные люди, – продолжал он вполголоса, как будто про себя, – кто без бороды живет, тот Хорю и набольший.

– А ты сам бороду сбрей.

– Что борода? борода – трава: скосить можно.

– Ну, так что ж?

– А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

– А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? – спросил я его.

– Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», – подумал я.

– Нет, – сказал я вслух, – тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

– Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! – вскричал он, поднимаясь с места, – сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать... Я, наконец, задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.

– Самовар тебе готов, – сказал он мне с улыбкой, – пойдем чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.

– Что у тебя за рослый народ! – заметил я старику.

– Да, – промолвил он, откусывая крошечный кусок сахара, – на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

– И все с тобой живут?

– Все. Сами хотят, так и живут.

– И все женаты?

– Вон один, пострел, не женится, – отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. – Васька, тот еще молод, тому погодить можно.

– А что мне жениться? – возразил Федя, – мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

– Ну, уж ты... уж я тебя знаю! кольца серебряные носишь... Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыдники!» – продолжал старик, передразнивая горничных. – Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

– А в бабе-то что хорошего?

– Баба – работница, – важно заметил Хорь. – Баба мужику слуга.

– Да на что мне работница?

– То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.

– Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

– Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось... А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой...

– Дома Хорь? – раздался за дверью знакомый голос, – и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошел на охоту часами четырем позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новополученную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек – полтора рубля ассигнациями; в долг – три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птицы, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», – важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, наострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, не в городе, – в

город надо самим тащиться, – а приедем торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей – а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!

Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?... Ну, говори, батюшка, – как же?...» – «А! ах, господи, твоя воля!» – восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо – это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч – умел. «Этому шалопаю грамота далась, – заметил Хорь, – у него и пчелы отродясь не мерли». – «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». – «А другие?» – «Другие не знают». – «А что?» Старик не отвечал и переменял разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, – пускай бабы ссорятся... Их что разнимать – то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» – и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», – говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» – возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» – «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» – отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». – «Он мне дает на лапти». – «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, жалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою

долю... Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается – телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».

– Посмотри-ка, – возразил я ему, – как у Калиныча на пасеке чисто.

– Пчелы бы жить не стали, батюшка, – сказал он со вздохом.

«А что, – спросил он меня в другой раз, – у тебя своя вотчина есть?» – «Есть». – «Далеко отсюда?» – «Верст сто». – «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» – «Живу». – «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» – «Признаться, да». – «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще».

На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, – сказал я... – Прощай, Федя». – «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», – заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, – возразил мне Калиныч, – утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю...

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

Малиновая вода

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть вдет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расселины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, худенький и маленький, в мухояровом заплятанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я взглянул в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека. В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили

богатые помещики, и все у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудami кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избушку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиной и семью детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтора верст, зелень и овощи; Аксины поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, несколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидел я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то по крайней мере так называемое «отвесное»: Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет, — об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, — даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, — стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клетке, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, «притулился», у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня — да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей — и все для еды, для одной еды. И точно, не заботясь он с утра до вечера о своем пропитании, — умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в

чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлеба устраивает. И все это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает... Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик шепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.

Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича***, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоянного двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того) до сих пор еще могут заметить в недалеком расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомнит минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобоострастных гостей; но имения его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморгался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

– Ну, что, Михайло Савельич, – начал я, – наловил рыбы?

– А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да головликов штук пять... Покажь, Степа.

Степушка протянул ко мне плетушку.

– Как ты поживаешь, Степан? – спросил я его.

– И... и... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку, – отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

– А Митрофан здоров?

– Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

– Да плохо что-то клюет, – заговорил Туман, – жарко больно; рыба-то вся под кусты забила, спит... Надень-ко червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Степа... А вы, батюшка, – продолжал он, обращаясь ко мне, – охотиться извольте?

– Как видишь.

– Так-с... А что это у вас песик аглицкий али фурлянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете!

– Не знаю, какой он породы, а хорош.

– Так-с... А с собаками изволите ездить?

– Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

– Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы все уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псаря как следует, в порядке, и все. Покойный граф – царство ему небесное! – охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псаря на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремяна вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щелкнуть, а псаря загочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит... Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден... Ах, сорвался, азиятец! – прибавил он вдруг, дернув удочкой.

– А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку? – спросил я.

Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

– Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: «Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» – «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, – господи, владыко живота моего! фейверки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец; с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся – до зари пляшут, и все больше лакосез-матрадура... Э... э... э... попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Степа. – Барин был, как следует, барин, – продолжал старик, закинув опять удочку, – и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя, – смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Оне-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие, – дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница, – царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было времечко! – прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

– А барин-то, я вижу, у вас был строг? – начал я после небольшого молчания.

– Тогда это было во вкусе, батюшка, – возразил старик, качнув головой.

– Теперь уж этого не делается, – заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

– Теперь, вестимо, лучше, – пробормотал он – и далеко закинул удочку.

Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевелился. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба

плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас, в овраге, раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидел мужика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся.

– Э, Влас? – вскрикнул Туман, взглядевшись в него. – Здорово, брат. Откуда бог принес?

– Здорово, Михайла Савельич, – проговорил мужик, подходя к нам, – издавеча.

– Где пропадал? – спросил его Туман.

– А в Москву ходил, к барину.

– Зачем?

– Просить его ходил.

– О чем просить?

– Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил, что ли... Сын у меня умер, – так мне одному теперь не справиться.

– Умер твой сын?

– Умер. Покойник, – прибавил мужик, помолчав, – у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк вносил.

– Да разве вы теперь на оброке?

– На оброке.

– Что ж твой барин?

– Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести... да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

– Ну, что ж, ты и пошел назад?

– И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почему знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; еще у меня в долгу». Ну, я и пошел.

Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съезженные его глазки наворачивалась слезинка, губы его подергивало.

– Что ж ты, теперь домой идешь?

– А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

– Да ты бы... того... – заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копать в горшке.

– А к приказчику пойдешь? – продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

– Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес... Да мне с полугория: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри, – шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семеныч, а уж...

Влас опять засмеялся.

– Что ж? Это плохо, брат Влас, – с расстановкой произнес Туман.

– А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит, – продолжал он, утирая лицо рукавом.

– Кто ваш барин? – спросил я.

– Граф***, Валериан Петрович.

– Сын Петра Ильича?

– Петра Ильича сын, – отвечал Туман. – Петр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

– Что, он здоров?

– Здоров, слава богу, – возразил Влас. – Красный такой стал, лицо словно обложилось.

– Вот, батюшка, – продолжал Туман, обращаясь ко мне, – добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

– А почем с тягла?

– Девяносто пять рублей с тягла, – пробормотал Влас.

– Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес.

– Да и тот, говорят, продали, – заметил мужик.

– Ну, вот видите... Степа, дай-ка червяка... А, Степа? Что ты, заснул, что ли?

Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...

Через полчаса мы разошлись.

Льгов

– Поедьте-ка в Льгов, – сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай, – мы там уток настреляем вдоволь.

Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но, за неимением пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов.

Льгов – большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по-орловскому – Майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвостых, чирков, нырков и пр. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: фу-у! Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергнулся нашим выстрелам и лишился жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников.

– Нет, – промолвил, наконец, Ермолай, – дело неладно: надо достать лодку... Поедьте назад в Льгов.

Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или бле-д-амур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки, с обычным, их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, – небольшие карие глазки приветливо моргали, – все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.

– Позвольте себя рекомендовать, – начал он мягким и вкрадчивым голосом, – я здешний охотник Владимир... Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решил, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги. Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как провинциальный молодой актер, занимаю-

щий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек; в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятностям, успевал: русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно; особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может, при случае, изъяснить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не «субтильный», начал было его «тыкать». Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему: «Вы-с...»

– Зачем вы повязаны платком? – спросил я его. – Зубы болят?

– Нет-с, – возразил он, – это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту: я любопытствую узнать – в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу; достал ему, с своей стороны, ружье-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохотились; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом; он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикула, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но, по неопытности своей, он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки.

Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.

– У Сучка есть дощаник⁶³, – заметил Владимир, – да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему.

– К кому? – спросил я.

– А здесь человек живет, прозвище ему Сучок.

Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: «Ci git Theophile Henri, vicomte de Blanguy»⁶⁴; на другой: «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умре 1799 года, всего жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху», а на четвертой:

Под камнем сим лежит французский эмигрант;
Породу знатную имел он и талант,
Супругу и семью оплавав избиянну,
Покинул родину, тиранами попоранну;
Российский страны достигнув берегов,
Обрел на старости гостеприимный кров;
Учил детей, родителей покоил...
Всевышний судия его здесь успокоил...

⁶³ Плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок.

⁶⁴ «Здесь покоится Теофиль Анри, граф Бланжи» (*франц.*).

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем Сучок прервал мой размышления. Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.

– Есть у тебя лодка? – спросил я.

– Лодка есть, – отвечал он глухим и разбитым голосом, – да больно плоха.

– А что?

– Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились.

– Велика беда! – подхватил Ермолай. – Паклей заткнуть можно.

– Известно, можно, – подтвердил Сучок.

– Да ты кто?

– Господский рыболов.

– Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?

– Да в нашей реке и рыбы-то нету.

– Рыба не любит ржавчины болотной, – с важностью заметил мой охотник.

– Ну, – сказал я Ермолаю, – поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей.

Ермолай ушел.

– А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем? – сказал я Владимиру.

– Бог милостив, – отвечал он. – Во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубокий.

– Да, он не глубокий, – заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья, – да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины⁶⁵.

– Однако же, если трава так сильна, – заметил Владимир, – так и грести нельзя будет.

– Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду; у меня там есть шестик, – а то и лопатой можно.

– Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, – сказал Владимир.

– Оно правда, что неловко.

Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повесил голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной.

– Скажи, пожалуйста, – начал я, – давно ты здесь рыбаком?

– Седьмой год пошел, – отвечал он, встрепенувшись.

– А прежде чем ты занимался?

– Прежде ездил кучером.

– Кто ж тебя из кучеров разжаловал?

– А новая барыня.

– Какая барыня?

– А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофеевна, толстая такая... немолодая.

– С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?

– А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не сердает... А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». – «Кучером? Ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?...» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке...» А как его содержать в порядке?

⁶⁵ Глубокое место, яма в пруде или реке.

– Чьи же вы прежде были?

– А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил... да не в городе – там у него другие были, а в деревне.

– И ты смолоду все был кучером?

– Какое все кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был, – но не городским тоже поваром, а так, в деревне.

– У кого ж ты был поваром?

– А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось. – У кого купил?

– А у Татьяны Васильевны.

– У какой Татьяны Васильевны?

– А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым... то бишь под Карачевым, в девках... И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василья Семеныча. Она-таки долгонько нами владела... годиков двадцать.

– Что ж, ты и у ней был поваром?

– Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал.

– Во что?

– В кофишенки.

– Это что за должность такая?

– А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.

– Твое настоящее имя Кузьма?

– Кузьма.

– И ты все время был кофишенком?

– Нет, не все время: был и ахтером.

– Неужели?

– Как же, был... на кеятре играл. Барыня наша кеятр у себя завела.

– Какие же ты роли занимал?

– Чего изволите-с?

– Что ты делал на театре?

– А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори, – я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне по горошине положили... Как же!

– А потом чем был?

– А потом опять в повара поступил.

– За что же тебя опять в повара разжаловали?

– А брат у меня сбежал.

– Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?

– А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.

– Доезжачим?... И с собаками ездил?

– Ездил и с собаками, да убился: с лошадьё упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.

– Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжание попал?

– Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.

– Какое ж тут ученье в двадцать лет?

– Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, – меня в деревню и вернули.

– Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся.

– Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!

– Ну, – промолвил я, – видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?

– А я, батюшка, не жалуюсь. И славу богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика – Андрея Пупыря – в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть... А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.

– Есть у тебя семейство? Был женат?

– Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница – царство ей небесное! – никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?»

– Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

– Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются – и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже!

Ермолай вернулся.

– Справлена лодка, – произнес он сурово. – Ступай за шестом – ты!..

Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.

– Глупый человек-с, – промолвил он, когда тот ушел, – совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с... и все хвастал-с... Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!

Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.

Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжело шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали: легко подраненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я – довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» – и то и дело почесывал спину – не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом;

пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.

Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковши, похищенного, на всякий случай, моим предусмотрительным охотником у, зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника, – как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старался достать убитую птицу и всем телом налег на крап), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.

– Тыфу ты, пропасть! – пробормотал он, плюнув в воду, – какая оказия! А все ты, старый черт! – прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. – Что это у тебя за лодка?

– Виноват, – пролепетал старик.

– Да и ты хорош, – продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира, – чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты...

Но Владимиру было уж не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства!

Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами... В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти шагах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» – подумал я.

– Как нам быть? – спросил я Ермолая.

– А вот посмотри: не ночевать же здесь, – ответил он. – На, ты, держи ружье, – сказал он Владимиру.

Владимир беспрекословно повиновался.

– Пойду сыщу брод, – продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод, – взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.

– Да ты умеешь ли плавать? – спросил я его.

– Нет, не умею, – раздался его голос из-за тростника.

– Ну, так утонет, – равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение.

– И без всякой пользы пропадет-с, – жалобно прибавил Владимир.

Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перебивались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.

Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

– Ну, что?

– Был на берегу; брод нашел... Пойдемте.

Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей, – тут направо колдобина!» или: «Правей, – тут налево завязнешь...» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри: «Ну, ну, ну!» – грозно кричал на него Ермолай, – и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега.

Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял голову набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна... На селе раздавались песни.

Бежин луг

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не яркие; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню.

В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не почувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожидаемой знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! – подумал я, – да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», – и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, – думал я про себя, – тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далеко-далеко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парахинские кусты! – воскликнул я наконец, – точно! Вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попала какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало, – одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть – но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» – повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной ложине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней, – казалось, они сползли туда для тайного совещания, – и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам – наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм

сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцающая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...

Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дожидаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопрошательные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, наострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрепятственно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, постороились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь, добежали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо шурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаша с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги – не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый – что и говорить! – а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубаша да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он словно все шурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки: губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестящие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его языке по крайней мере, – не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно шурился. Костя понурил немного голову и глядел куда то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

– Ну, и что ж ты, так и видел домового?

– Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, – отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, – а слышал... Да и не я один.

– А он у вас где водится? – спросил Павлуша.

– В старой рольне⁶⁶.

⁶⁶ «Рольней» или «черпальной» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно

– А разве вы на фабрику ходите?

– Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим⁶⁷.

– Вишь ты – фабричные!..

– Ну, так как же ты его слышал? – спросил Федя.

– А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребята; всех было нас ребяток человек десять – как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то⁶⁸ спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спускаться стал, и этак спускается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал – дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим – ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма⁶⁹ зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

– Вишь как! – промолвил Павел. – Чего ж он раскашлялся?

– Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

– А что, – спросил Федя, – картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

– Нет, еще сыры... Вишь, плеснула, – прибавил он, повернув лицо в направлении реки, – должно быть, щука... А вон звездочка покатила.

– Нет, я вам что, братцы, расскажу, – заговорил Костя тонким голоском, – послушайте-ка, намердись что тятя при мне рассказывал.

– Ну, слушаем, – с покровительствующим видом сказал Федя.

– Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

– Ну да; знаем.

– А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, – пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи да и заблудился; зашел – бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, – нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, – присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит – никого. Он опять задремал – опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц – все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидят на ветке, словно плотичка какая или пескарь, – а то вот

находится у самой плотины, под колесом.

⁶⁷ «Лисовщики» гладят, скоблят бумагу.

⁶⁸ «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо.

⁶⁹ Сетка, которой бумагу черпают.

еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, зная, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волосы у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человеке, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятливо стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

– Эка! – проговорил Федя после недолгого молчанья, – да как же это может такая лесная нечисть христианскую душу спортить, – он же ее не послушался?

– Да вот поди ты! – сказал Костя. – И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

– Твой батька сам это рассказывал? – продолжал Федя.

– Сам. Я лежал на полатах, все слышал.

– Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, зная, он ей понравился, что позвала его.

– Да, понравился! – подхватил Ильюша. – Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

– А ведь вот и здесь должны быть русалки, – заметил Федя.

– Нет, – отвечал Костя, – здесь место чистое, вольное. Одно – река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стнящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься – и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу топким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

– С нами крестная сила! – шепнул Илья.

– Эх вы, вороны! – крикнул Павел, – чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? – сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

– А слышали вы, ребята, – начал Ильюша, – что намерднись у нас на Варнавицах приключилось?

– На плотине-то? – спросил Федя. – Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли⁷⁰ водятся.

– Ну, что такое случилось? сказывай...

– А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могила его еще видна, да и та чуть видна: так – бугорочек... Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелен. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая

⁷⁰ По-орловскому: змеи.

уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, – что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек – ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, – говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!...» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно прыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

– Что там? что такое? – спросили мальчики.

– Ничего, – отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, – так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, – прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хвостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» – думал я, глядя на него.

– А видали их, что ли, волков-то? – спросил трусишка Костя.

– Их всегда здесь много, – отвечал Павел, – да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

– А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, – заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). – Да и собак тут нелегкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

– Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали – покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иванович, изволишь искать на земле?»

– Он его спросил? – перебил изумленный Федя.

– Да, спросил.

– Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?

– Разрыв-травы, говорит, ишу. Да так глухо говорит, глухо: – разрыв-травы. – А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв-травы? – Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

– Вишь какой! – заметил Федя, – мало, знать, пожил.

– Экое диво! – промолвил Костя. – Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

– Покойников во всяк час видеть можно, – с уверенностью подхватил Илюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья... – Но а в родительскую

субботу ты можешь и живого увидеть, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

– Ну, и видела она кого-нибудь? – с любопытством спросил Костя.

– Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась – Ивашка Федосеев идет...

– Тот, что умер весной? – перебил Федя.

– Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться – ах ты, господи! – сама идет по дороге, сама Ульяна.

– Неужто сама? – спросил Федя.

– Ей-богу, сама.

– Ну что ж, ведь она еще не умерла?

– Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возмись белый голубок, – налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

– Знать, от дому отбился, – заметил Павел. – Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

– А что, Павлуша, – промолвил Костя, – не праведная ли эта душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

– Может быть, – проговорил он наконец.

– А скажи, пожалуй, Павлуша, – начал Федя, – что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?⁷¹

– Как солнца-то не стало видно? Как же.

– Чай, напугались и вы?

– Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напередки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку⁷² увидят.

– Какого это Тришку? – спросил Костя.

– А ты не знаешь? – с жаром подхватил Ильюша, – ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка – эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет – так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, – он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется – они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот

⁷¹ Так мужики называют у нас солнечное затмение.

⁷² В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе.

Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ христианский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

– Ну да, – продолжал Павел своим неторопливым голосом, – такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят – вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» – да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиha в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчишки засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли...

Станный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и спустя несколько мгновений повторился уже далее...

Костя вздрогнул. «Что это?»

– Это цапля кричит, – спокойно возразил Павел.

– Цапля, – повторил Костя... – А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, – прибавил он, помолчав немного, – ты, может быть, знаешь...

– Что ты слышал?

– А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел – знаешь, там, где он сугибелью⁷³ выходит, – там ведь есть бучило⁷⁴; знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезненный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

– В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, – заметил Павлуша, – так, может быть, его душа жалобится.

– А ведь и то, братцы мои, – возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза... – Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

– А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, – продолжал Павел, – которые так жалобно кричат.

– Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) – Эх ее! – невольно произнес Костя, – словно леший кричит.

– Леший не кричит, он немой, – подхватил Ильяша, – он только в ладоши хлопает да трещит...

– А ты его видал, лешего-то, что ли? – насмешливо перебил его Федя.

⁷³ Сугибель – крутой поворот в овраге.

⁷⁴ Бучило – глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом.

– Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

– Ну, и видел он его?

– Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, окутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

– Эх ты! – воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами, – пфу!..

– И зачем эта погань в свете развелась? – заметил Павел. – Не понимаю, право!

– Не бранись: смотри, услышит, – заметил Илья.

Настало опять молчание.

– Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, – раздался вдруг детский голос Вани, – гляньте на божьи звездочки, – что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

– А что, Ваня, – ласково заговорил Федя, – что, твоя сестра Анютка здорова?

– Здорова, – отвечал Ваня, слегка картавя.

– Ты ей скажи – что она к нам, отчего не ходит?..

– Не знаю.

– Ты ей скажи, чтобы она ходила.

– Скажу.

– Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

– А мне дашь?

– И тебе дам.

Ваня вздохнул.

– Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.

– Куда ты? – спросил его Федя.

– К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

– Смотри, не упади в реку! – крикнул ему вслед Ильюша.

– Отчего ему упасть? – сказал Федя, – он остережется.

– Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, – прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

– А правда ли, – спросил Костя, – что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

– С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

– А говорят, – продолжал Костя, – Акулина оттого в реку и кинулась, что ее любовник обманул.

– От того самого.

– А помнишь Васю? – печально прибавил Костя.

– Какого Васю? – спросил Федя.

– А вот того, что утонул, – отвечал Костя, – в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды гибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятами, летом в речку купаться, – она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, – глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, – помните, Вася-то все такую песенку певал, – вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...

– А вот Павлуша идет, – молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

– Что, ребята, – начал он, помолчав, – неладно дело.

– А что? – торопливо спросил Костя.

– Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

– Что ты, что ты? – пролепетал Костя.

– Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

– Ах ты, господи! ах ты, господи! – проговорили мальчики, крестясь.

– Ведь это тебя водяной звал, Павел, – прибавил Федя... – А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

– Ах, это примета дурная, – с расстановкой проговорил Ильюша.

– Ну, ничего, пушай! – произнес Павел решительно и сел опять, – своей судьбы не минувешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

– Что это? – спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

– Это кулички летят, посвистывают.

– Куда ж они летят?

– А туда, где, говорят, зимы не бывает.

– А разве есть такая земля?

– Есть.

– Далеко?

– Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрагсметным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, – в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог

различить, при чуть брезжащем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понутив головы... Сладкое забытие напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро начиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обгаренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редящего тумана, – полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принесли звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убится, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

Певцы

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, – через реку можно по крайней мере навести мост, – разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракии боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, – а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четверугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездой. Над дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка – кабак, прозванный «Притынным»⁷⁵. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч.

Николай Иваныч – некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, – уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много

⁷⁵ Притынным называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое приятное место.

здорового смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками наводит своих посетителей – и то любимых им посетителей – на путь истины.

Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, и кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает все, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иванович человек со влиянием: он известного конокрада заставил возратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним – нет! Он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иванович женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Ивановича еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия; одни воробы не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неимением ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязь из пруда... Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Ивановича стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к другу и с унылым терпением наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет, наконец, этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках – негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, – как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без

шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

– Иди, иди же! – залепетал он, с усилием поднимая густые брови, – иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь... Иди.

– Ну, иду, иду, – раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. – Иду, любезный, – продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения, – зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?

– Зачем я тебя зову? – сказал с укоризной человек во фризовой шинели. – Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем. А ждут тебя все люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили – кто кого одолеет, лучше споет то есть... понимаешь?

– Яшка петь будет? – с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. – И ты не врешь, Обалдуй?

– Я не вру, – с достоинством отвечал Обалдуй, – а ты брешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргай!

– Ну, пойдем, простота, – возразил Моргая.

– Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, – залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

– Вишь, Езоп изнеженный, – презрительно ответил Моргая, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.

Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки: но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядом стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубаше, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его остроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями,

белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы – все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, – да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четверугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барин. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки – рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазами и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход – я это мог заметить – сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.

– Ну, что ж! – возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. – Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

– Начинать, начинать, – одобрительно подхватил Николай Иваныч.

– Начнем, пожалуй, – хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, – я готов.

– И я готов, – с волнением произнес Яков.

– Ну, начинайте, ребята, начинайте, – пропищал Моргач.

Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, – все словно ждали чего-то.

– Начинай! – угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

– А кому начать? – спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

– Тебе, тебе, рядчик, – залепетал Обалдуй, – тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замаялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк. – Жеребий кинуть, – с расстановкой произнес Дикий-Барин, – до осьмуху на стойку.

Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик – свой.

– Тебе выбирать, – проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.

– Ведь я же говорил, что тебе, – воскликнул Обалдуй, – я ведь говорил.

– Ну, ну, не «циркай»!⁷⁶ – презрительно заметил Дикий-Барин. – Начинай, – продолжал он, качнув головой на рядчика.

– Какую же мне песню петь? – спросил рядчик, приходя в волнение.

– Какую хочешь, – отвечал Моргач. – Какую вздумается, ту и пой.

– Конечно, какую хочешь, – прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. – В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

– Разумеется, по совести, – подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

– Дайте, братцы, откашляться маленько, – заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

– Ну, ну, не прохлаждайся – начинай! – решил Дикий-Барин и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами...

Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнем с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуй, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало – прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, – так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.

Моргач несколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло название Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старанье вывести пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его

⁷⁶ Циркают ястреба, когда они чего-нибудь испугаются.

остались для меня – и, вероятно, для многих других – темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромым, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведением загладив свое преступление, понемногу вошел к ней в милость, заслужил наконец ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки»⁷⁷. Они никогда не смотрят просто – все высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить... смотришь – все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргаченок в отца вышел», – уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе – художник во всех смыслах этого слова, а по званию – черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько подробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и – странное дело – его медвежья-тая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина – псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе; но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, – не от него же самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, – в нем вообще не было ничего скромного, – но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всем округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с кото-

⁷⁷ Орловцы называют глаза гляделками, так же как рот едалом.

рыми случайно сталкивался. Он говорил – ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства, – смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский *tenore di grazia, tenor leger*⁷⁸. Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачем начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй, наконец, затопал, засеменял ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Варин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, – общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери, хорошо!» – и с решительностью плюнул в сторону.

⁷⁸ Лирический тенор (*итал. и франц.*).

– Ну, брат, потешил! – кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий, – потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю – осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко... Уж я тебе говорю: далеко... А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

– Да пусти же его; пусти, неотвязная... – с досадой заговорил Моргач, – дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал... Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

– Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, – сказал Обалдуй и подошел к стойке. – На твой счет, брат, – прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крикая, принял грустно-озабоченный вид.

– Хорошо поешь, брат, хорошо, – ласково заметил Николай Иванович. – А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим... А хорошо поет рядчик, ей-богу хорошо.

– Очинна хорошо, – заметила Николай Ивановичева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

– Хорошо-га! – повторил вполголоса мой сосед.

– А, заворотень-полеха!⁷⁹ – завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. – Полеха! полеха! Га, баде панай!⁸⁰, заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? – кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:

– Да что ж это за несносное животное такое? – произнес он, скрипнув зубами.

– Я ничего, – забормотал Обалдуй, – я ничего... я так...

– Ну, хорошо, молчать же! – возразил Дикий-Барин. – Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

– Что, брат, того... что-то... Гм... Не знаю, право, что-то того...

– Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо – оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел... Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием, за вторым – третий, и, понемногу разгораясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролежала», – пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и слабость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа

⁷⁹ Полехами называются обитатели южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Волховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав.

⁸⁰ Полехи прибавляют почти к каждому слову восклицания: «га!» и «баде!». «Панай» вместо погоняй.

звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более – он дрожал, по той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжело шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... Я оглянулся – жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке – словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидел, что победа была его...

– Яша, – проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и – смолк.

Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты... твоя... ты выиграл», – произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарование: все вдруг заговорило шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул вверх, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иванович приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Ивановича, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», – твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться – я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова... Наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся. – все уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и

грудь все еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака неслись нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался отсюда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно – все, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топтал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный, как рак, и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иванович, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого-Барина я в ней не видал.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» – кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз по крайней мере прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ:

– Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:

– Иди сюда, черт леши-и-и-ий!

– Заче-е-е-ем? – ответил тот спустя долгое время.

– А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т, – поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся звать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от Колотовки...

«Антропка-а-а!» – все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.

Лес и степь

*...И понемногу начало назад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так тенисты,
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растет над тучной нивой,*

*Где пахнет конопелью да крапивой...
Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где розь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами.
И падает тяжелый желтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч;
Там хорошо.....*

(Из поэмы, преданной сожжению.)

Читателю, может быть, уже наскучили мои записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, für sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте.

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набежит легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете – едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шипели; вам дремлет. Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... Край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснее небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул – и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синея сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком выются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отраднo бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст – вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... Кое-где разве вдали желтеет поспевающая

рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним, отошли – звучный лязг косы раздаётся за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух.

– Где бы, брат, тут напиться? – спрашиваете вы у косаря.

– А вон, в овраге, колодезь.

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевелиться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело... Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай... скорее!.. Вы добежали, вошли... Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; синее небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость... А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснее... Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни... Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин...

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес гложет... Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед...

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья.

Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображение реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь разворачивается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает – ни солнца нет, ни ветра, ни шуму...

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, – когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней...

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом! Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева – оно не шелохнется: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите – лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас – всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнется – клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редящийся, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу – и вот опять все заволокло. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине...

Но вот вы собрались в отъездное поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам – вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоянных дворишков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещичья карета, запряженная шестериком рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы – какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханые и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги выются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозинками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы все мельче и мельче, деревья почти не видать. Вот она наконец – безграничная, необозримая степь!

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно шуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг клубятся потоки...

Однако пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль... Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.

Пэгаз

Охотники часто любят хвастать своими собаками и превозносить их качества: это тоже род косвенного самовосхваления. Но несомненно то, что между собаками, как между людьми, попадаются умницы и глупыши, даровитости и бездарности, и попадаются даже гении, даже оригиналы⁸¹; а разнообразие их способностей «физических и умственных», нрава, темперамента – не уступит разнообразию, замечаемому в людской породе. Можно сказать – и без особенной натяжки, – что от долгого, за исторические времена восходящего сожительства собаки с человеком, она заразилась им – в хорошем и в дурном смысле слова: ее собственный нормальный строй несомненно нарушен и изменен, – как нарушена и изменена самая ее внешность. Собака стала болезненнее, нервнее, ее годы сократились; но она стала интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее; ее кругозор расширился. Зависть, ревность – и способность к дружбе, отчаянная храбрость, преданность до самоотвержения – и позорная трусость и изменчивость, подозрительность, злопамятность – и добродушие, лукавство и прямота – все эти качества проявляются – иногда с поразительной силой – в перевоспитанной человеком собаке, которая гораздо больше, чем лошадь, заслуживает название «самого благородного его завоевания» – по известному выражению Бюффона.

Но довольно философствовать: обращаюсь к фактам.

У меня, как у всякого «завязтого» охотника, перебивало много собак, дурных, хороших и отличных – попалась даже одна, положительно сумасшедшая, которая и кончила жизнь свою, выпрыгнув в слуховое окно сушильни, с четвертого этажа бумажной фабрики; но лучший без всякого сомнения пес, которым я когда-либо обладал, был длинношерстый, черный с желтыми подпалинами кобель, по кличке «Пэгаз», купленный мной в окрестностях Карлсруэ у охотника-сторожа (Jagdhiiter) за сто двадцать гульденов – около восьмидесяти рублей серебром. Мне несколько раз – впоследствии времени – предлагали за нее тысячу франков. Пэгаз (он жив еще до сих пор, хотя в начале нынешнего года почти внезапно потерял чутье, оглох, окривел и совершенно опустился) – Пэгаз – крупный пес с волнистой шерстью, с удивительно красивой, громадной головой, большими карими глазами и необычайно умной и гордой физиономией. Породы он не совсем чистой: он являет смесь английского сеттера и овчарной немецкой собаки: хвост у него толст, передние лапы слишком мясисты, задние несколько жидки. Силой он обладал замечательной и был драчун величайший: на его совести, наверно, лежит несколько собачьих душ. О кошках я уже не упоминаю. Начну с его недостатков на охоте: их немного, и перечесть их недолго. Он боялся жары – и когда не было близко воды, подвергался тому состоянию, когда говорят о собаке, что она «зарьяла»; он был также несколько тяжел и медлителен в поиске; но так как чутье у него было баснословное – я ничего подобного никогда не встречал и не видывал, – то он все-таки находил дичь скорее и чаще, чем всякая другая

⁸¹ Весной 1871 года я видел в Лондоне, в одном цирке, собаку, которая исполняла роль «клоуна», паяца; она обладала несомненным комическим юмором.

собака. Стойка его приводила в изумление – и никогда – никогда! он не врал. «Коли Пэгаз стоит – значит есть дичь» – было общепринятой аксиомой между всеми нашими товарищами по охоте. Ни за зайцами, ни за какой другой дичью он не гонял ни шагу; но, не получив правильного, строгого, английского воспитания, он, вслед за выстрелом, не выжидая приказаний, бросался поднимать убитую дичь – недостаток важный! Он по полету птицы тотчас узнавал, что она подрана, – и если, посмотрев ей вслед, отправлялся за нею, поднимая особенным манером голову, – то это служило верным знаком, что он ее сыщет и принесет. В полном развитии его сил и способностей – ни одна подстреленная дичь от него не уходила: он был удивительнейший «ретривер» (retriever – сыщик), какого только можно себе представить. Трудно перечислить, сколько он отыскал фазанов, забившихся в густой терновник, которым наполнены почти все германские леса, – куропаток, отбежавших чуть не на полверсты от места, где они упали, – зайцев, диких коз, лисиц. Случалось, что его приводили на след два, три, четыре часа после нанесения раны: стоило сказать ему, не возвышая голоса: *such, verloren!* (шершь, потерял!) – и он немедленно отправлялся курц-галопом сперва в одну сторону, потом в другую – и, наткнувшись на след, стремительно, во все лопатки, пускался по нем... Минута пройдет, другая... и уже заяц или дикая коза кричит под его зубами – или вот уже он мчится назад с добычей во рту. Однажды, на заячьей облаве, Пэгаз выкинул такую удивительную штуку, что я бы едва ли решился рассказать ее, если б не мог сослаться на целый десяток свидетелей. Лесной загон кончился; все охотники сошлись на поляне близ опушки. «Я именно здесь ранил зайца», – сказал мне один из моих товарищей – и обратился ко мне с обычной просьбой: направить на след Пэгаза. Должно заметить, что на эти облавы, кроме моего пса, прозванного «*Pillustre Pegase*»⁸², ни один не допускался. Собаки в этих случаях только мешают; сами беспокоятся и беспокоят своих владетелей – да своими движениями предостерегают и отгоняют дичь. Егери-загонщики своих собак держат на сворах. Мой Пэгаз, как только начиналась облава и раздавались крики – превращался в истукана, смотрел внимательно в чащу леса, чуть заметно поднимая и опуская уши, – и даже дышать переставал; дичина могла проскочить под самым его носом – он едва дрогнет боками или облизнется – и только. Однажды заяц пробежал буквально по его лапам... Пэгаз удовольствовался тем, что показал пример, будто укусить его хочет. Возвращаясь к рассказу. Я скомандовал ему: «*Such, verloren!*» – он отправился – и через несколько мгновений мы услышали крик пойманного зайца – и вот уже мелькает по лесу красивая фигура моего пса – скачет он прямо ко мне. (Он никому другому не отдавал своей добычи.) Внезапно, в двадцати шагах от меня – он останавливается, кладет зайца на землю – и марш-марш назад! Мы все переглянулись с изумлением... «Что это значит? – спрашивают у меня. – Зачем Пэгаз не донес до вас зайца? Он этого никогда не делал!» Я не знал, что сказать, ибо сам ничего не понимал, – как вдруг опять в лесу раздается заячий крик – и Пэгаз опять мелькает по чаще с другим зайцем во рту! Дружные, громкие рукоплескания его приветствовали. Одни охотники могут оценить, какое тонкое чутье, какой ум и какой расчет должны быть у собаки, которая, с только что убитым, теплым зайцем во рту – в состоянии, на всем скаку, в виду хозяина, учуять запах другого раненого зайца – и понять, что это издает запах именно другой, – а не тот заяц, которого она держит между зубами!

В другой раз его навели на след раненой дикой козы. Охота происходила на берегу Рейна. Он добежал до берега, бросился направо, потом налево – и, вероятно, рассудив, что дикая коза, хоть и не дала больше следа, пропасть, однако, не могла – бухнулся в воду, переплыл рукав Рейна (Рейн, как известно, против великого герцогства Баденского делится на множество рукавов) – и, выбравшись на противулежащий, заросший лозняками островок, схватил на нем козу.

⁸² Знаменитый Пэгаз (*фр.*).

Еще вспоминаю я зимнюю охоту в самых вершинах Шварцвальда. Везде лежал глубокий снег, деревья обросли громадным инеем, густой туман наполнял воздух и скрадывал очертанья предметов. Сосед мой выстрелил – и когда я, по окончании облавы, подошел к нему – сказал мне, что он стрелял по лисице – и, вероятно, ее ранил, потому что она взмахнула хвостом. Мы пустили по следу Пэгаза – и он тотчас же исчез в белой мгле, окружавшей нас. Прошло пять минут, десять, четверть часа... Пэгаз не возвращался.

Очевидно, что мой сосед попал в лисицу: если дичь не была ранена и Пэгаза посылали попустому, он возвращался тотчас. Наконец, в отдалении раздался глухой лай: он примчался к нам точно с другого света. Мы немедленно двинулись по направлению этого лая: мы знали, что когда Пэгаз не в состоянии был принести добычу, – он лаял над нею. Руководимые изредка раздававшимися, отрывочными возгласами его баса, мы шли; и шли мы точно как во сне – не видя почти, куда ставим ноги. Мы поднимались в гору, спускались в лощины, в снегу по колени, в сыром и холодном тумане; стеклянные иглы сыпались на нас с потрясенных нами ветвей... Это было какое-то сказочное путешествие. Каждый из нас казался другому призраком – и все кругом имело призрачный вид. Наконец, что-то зачернело впереди, на дне узкой ложбины: то был Пэгаз. Сидя на корточках, он свесил морду – и, как говорится, «насуровился»; а пред самым его носом, в тесной яме, между двумя плитами гранита, лежала мертвая лисица. Она заползла туда прежде, чем околела, – и Пэгаз не в состоянии был достать ее. Оттого он и оповестил нас лаем.

У него над правым глазом был незаросший шрам глубокой раны: эту рану нанесла ему лисица, которую он нашел еще живую, шесть часов после того, как по ней выстрелили, – и с которой он вступил в смертный бой.

Вспоминаю я еще следующий случай. Я был приглашен на охоту в Оффенбург, город, лежащий недалеко от Бадена. Эту охоту содержало целое общество спортсменов из Парижа: дичи в ней, особенно фазанов, было множество. Я, разумеется, взял с собой Пэгаза. Нас всех было человек пятнадцать. У многих были отличные, большею частью английские, чистокровные собаки. Переходя с одной облавы на другую, мы вытянулись в линию по дороге вдоль леса; налево от нас начиналось огромное, пустое поле; посредине этого поля – шагах от нас в пятистах – возвышалась небольшая кучка земляных груш (topinambour). Вдруг мой Пэгаз поднял голову, повел носом по ветру и пошел размеренным шагом прямо на ту отдаленную кучку засохших и вытянутых, сплошных стеблей. Я остановился и пригласил г-д охотников идти за моей собакой – ибо «тут наверное что-нибудь есть». Между тем другие собаки подскочили, стали вертеться и снова около Пэгаза, нюхать землю, оглядываться – но ничего не зачуяли; а он, нисколько не смущаясь, продолжал идти, как по струнке. «Заяц, должно быть, где-нибудь в поле залег», – заметил мне один парижанин. Но я по фигуре, по всей повадке Пэгаза видел, что это не заяц, и вторично пригласил г-д охотников идти за ним. «Наши собаки ничего не чувствуют, – отвечали они мне в один голос, – вероятно, ваша ошибается». (В Оффенбурге тогда еще не знали Пэгаза.) Я промолчал, взвел курки, пошел за Пэгазом, который лишь изредка оглядывался на меня через плечо, – и добрался, наконец, до кучки земляных груш. Охотники – хотя и не последовали за мною, однако все остановились и издали смотрели на меня. «Ну, если ничего не будет? – подумал я, – осрамимся мы, Пэгаз, с тобою...» Но в это самое мгновение целая дюжина самцов-фазанов с оглушительным треском взвилась на воздух – и я, к великой моей радости, сшиб пару, что не всегда со мной случалось, ибо я стреляю посредственно. «Вот, мол, вам, г-да парижане, и вашим чистокровным собакам!» С убитыми фазанами в руках возвратился я к товарищам... Compliments посыпались на Пэгаза и на меня. Я, вероятно, выказал удовольствие на лице; а он – как ни в чем не бывало! далее не скромничал.

Без преувеличения могу сказать, что Пэгаз сплошь да рядом зачуживал куропаток за сто, за двести шагов. И, несмотря на свой несколько ленивый поиск, как обдуманно он распоряжался: ни дать ни взять, опытный стратег! Никогда не опускал головы, не внюхивался в след,

позорно фыркая и тыкая носом; он действовал постоянно верхним чутьем, *dans le grand style, la grande maniere*⁸³, как выражаются французы. Мне, бывало, почти с места сходить не приходилось: только посматриваю за ним. Очень забавляло меня охотиться с кем-нибудь, кто еще не знал Пэгаза; получаса не проходило, как уже слышались восклицания: «Вот так собака! Да это – профессор!»

Понимал он меня с полуслова; взгляда было для него достаточно. Ума палата была у этой собаки. В том, что он однажды, отстав от меня, ушел из Карлсруэ, где я проводил зиму, – и четыре часа спустя очутился в Баден-Бадене, на старой квартире, – еще нет ничего необыкновенного; но следующий случай показывает, какая у него была голова. В окрестностях Баден-Бадена как-то появилась бешеная собака и кого-то укусила; тотчас вышел от полиции приказ: всем собакам без исключения надеть намордники. В Германии подобные приказы исполняются пунктуально, и Пэгаз очутился в наморднике. Это было ему неприятно до крайности; он беспрестанно жаловался – то есть садился напротив меня – и то лаял, то подавал мне лапу... но делать было нечего, надлежало покориться. Вот однажды моя хозяйка приходит ко мне в комнату и рассказывает, что накануне Пэгаз, воспользовавшись минутой свободы, зарыл свой намордник! Я не хотел дать этому веры; но несколько мгновений спустя хозяйка моя снова вбегает ко мне и шепотом зовет меня поскорее за собою. Я выхожу на крыльцо – и что же я вижу? Пэгаз с намордником во рту пробирается по двору украдкой, словно на цыпочках – и, забравшись в сарай, принимается рыть в углу лапами землю – и бережно закапывает в нее свой намордник! Не было сомнения в том, что он воображал таким образом навсегда отделаться от ненавистного ему стеснения.

Как почти все собаки, он терпеть не мог нищих и дурно одетых людей (детей и женщин он никогда не трогал) – а главное: он никому не позволял ничего уносить; один вид ноши за плечами или в руке возбуждал его подозрения – и тогда горе панталонам заподозренного человека – и в конце концов – горе моему кошельку! Много пришлось мне за него переплатить денег. Однажды слышу я ужасный гвалт в моем палисаднике. Выхожу – и вижу – за калиткой человека дурно одетого – с разодранными «невыразимыми» – а перед калиткой Пэгаза в позе победителя. Человек горько жаловался на Пэгаза – и кричал... но каменщики, работавшие на противоположной стороне улицы, с громким смехом сообщили мне, что этот самый человек сорвал в палисаднике яблоко с дерева – и только тогда подвергся нападению Пэгаза.

Нрава он был – нечего греха таить – сурового и крутого; но ко мне привязался чрезвычайно, до нежности.

Мать Пэгаза была в свое время знаменитость – и тоже пресуровая нравом; даже к хозяину она не ласкалась. Братья и сестры его также отличались своими талантами; но из многочисленного его потомства ни один даже отдаленно не мог сравниться с ним.

В прошлом (1870) году он был еще превосходен – хотя начинал скоро уставать; но в нынешнем ему вдруг все изменило. Я подозреваю, что с ним сделалось нечто вроде размягчения мозга. Даже ум покинул его – а нельзя сказать, чтобы он слишком был стар. Ему всего девять лет. Жалко было видеть эту поистине великую собаку, превратившуюся в идиота; на охоте он то принимался бессмысленно искать – то есть бежал вперед по прямой линии, повесив хвост и понунив голову, – то вдруг останавливался и глядел на меня напряженно и тупо – как бы спрашивая меня, что же надо делать – и что с ним такое приключилось? *Sic transit gloria mundi!*⁸⁴ Он еще живет у меня на пенсии – но уж это не прежний Пэгаз – это жалкая развалина! Я простился с ним не без грусти. «Прощай! – думалось мне, – мой несравненный пес! Не забуду я тебя ввек, и уже не нажать мне такого друга!»

Да едва ли я теперь буду охотиться больше.

⁸³ В высоком стиле (*фр.*).

⁸⁴ Так преходяща слава мирская! (*лат.*)

О соловьях

Посылаю вам, любезный и почтеннейший С. Т., как любителю и знатоку всякого рода охот, следующий рассказ о соловьях, об их пенье, содержание, способе ловить их и пр., списанный мною со слов одного старого и опытного охотника из дворовых людей. Я постарался сохранить все его выражения и самый склад речи.

Лучшими соловьями всегда считались курские; но в последнее время они похужели; и теперь лучшими считаются соловьи, которые ловятся около Бердичева, на границе; там, в пятнадцати верстах за Бердичевым, есть лес, прозываемый Треяцким; отличные там водятся соловьи. Время их ловить в начале мая. Держатся они больше в черемушнике и мелком лесе и в болотах, где лес растет; болотные соловьи – самые дорогие. Прилетают они дня за три до Егорьева дня; но сначала поют тихо, а к маю в силу войдут, распоются. Выслушивать их надо по зарям и ночью, но лучше по зарям; иногда приходится всю ночь в болоте просидеть. Я с товарищем раз чуть не замерз в болоте: ночью сделался мороз, и к утру в блин льду на воде намерзло; а на мне был кафтанишка летний, плохенький; только тем и спасся, что между двух кочек свернулся, кафтан снял, голову закутал и дышал себе на пузо под кафтаном; целый день потом зубами стучал. Ловить соловья дело не мудреное: нужно сперва хорошенько выслушать, где он держится; а там точек на земле расчистить поладнее возле куста, расставить тайник и самку пришпорить, за обе ножки привязать, а самому спрятаться да присвистывать дудочкой, такая дудочка делается вроде пищика. А тайничок небольшой из сетки делается – с двумя дужками; одну дужку крепко к земле приспособить надо, а другую только приткнуть – и бечевку к ней привязать; соловей сверху как слетит к самке – тут и дернуть за бечевку, тайничок и закинется. Иной соловей очень жаден, так сейчас сверху пулей и бросится, как только завидит самку; а другой осторожен: сперва пониже спустится да разглядывает – его ли самка. Осторожных лучше сетью ловить. Сеть плетется сажень в пять; осыпешь ею куст или сухой дром, а осыпать надо слабо; как только спустится соловей – встанешь и погонишь его в сеть, он все низом летит – ну и повиснет в петельках. Сетью ловить можно и без самки; одною дудочкой. Как поймашь соловья, тотчас свяжи ему кончики крылышек, чтобы не бился, и сажай его скорее в куролеску – такой ящик делается низенький, сверху и снизу холстом обтянут. Кормить пойманных соловьев надо муравлиными яйцами – понемножку и почаще; они скоро привыкают и принимают клевать. Не мешает живых муравьев в куролеску напустить: иной болотный соловей не знает муравлиных яиц – не видал никогда – ну, а как муравьи станут таскать яйца – в задор войдет – станет их хватать.

Соловьи у нас здесь⁸⁵ дрянные: поют дурно, понять ничего нельзя, все колена мешают, трещат, спешат; а то вот еще у них самая гадкая есть штука: делает эдак туу и вдруг: ви! – эдак визгнет, словно в воду окунется. Это самая гадкая штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станет. Хороший соловей должен петь разборчиво и не мешать колена, – а колена вот какие бывают:

Первое: *Пулькание* – этак: пуль, пуль, пуль, пуль...

Второе: *Клыкание* – клы, клы, клы, как желна.

Третье: *Дробь* – выходит примерно как по земле разом дробь просыпать.

Четвертое: *Раскат* – тррррррр...

Пятое: *Пленкание* – почти понять можно: плень, плень, плень.

Шестое: *Лешева дудка* – этак протяжно: го-го-го-го-го, а там коротко: ту!

⁸⁵ В Мценском, Чернском и Белевском уездах.

Седьмое: *Кукушкин перелет*. Самое редкое колено; я только два раза в жизни его слышивал – и оба раза в Тимском уезде. Кукушка, когда полетит, таким манером кричит. Сильный такой, звонкий свист.

Восьмое: *Гусачок*. Га-га-га-га... У малоархангельских соловьев хорошо это колено выходит.

Девятое: *Юлиная стукотня*. Как юла – есть птица, на жаворонка похожая, – или как вот органчики бывают, – этакой круглый свист: фюиюиюиюию...

Десятое: *Почин* – этак: тий-вить, нежно, малиновкой. Это по-настоящему не колено, а соловьи обыкновенно так начинают. У хорошего, нотного соловья оно еще вот как бывает: начнет – тий-вить, а там: тук! Это оттолчкой называется. Потом опять – тий-вить... тук! тук! Два раза оттолчка – и в пол-удара, этак лучше; в третий раз тий-вить – да как рассыплет вдруг, сукин сын, дробью или раскатом – едва на ногах устоишь – обожжет! Этакой соловей называется с ударом или с оттолчкой. У хорошего соловья каждое колено длинно выходит, отчетливо, сильно; чем отчетливей, тем длинней. Дурной спешит: сделал колено, отрубил, скорее другое и – смешался. Дурак дураком и остался. А хороший – нет! Рассудительно поет, правильно. Примется какое-нибудь колено чесать – не сойдет с него до истомы, проберет хоть кого. Иной даже с оборотом – так длинен; пустит, например, колено, дробь, что ли, – сперва будто книзу, а потом опять в гору, словно кругом себя окружит, как каретное колесо перекатит – надо так сказать. Одного я такого слышал у мценского купца Ш...ва – вот был соловей! В Петербурге за тысячу двести рублей ассигнацией продан.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.